

Велик Север. Страшен Север. Прекрасен Север – в белых снежных нарядах, в россыпях ярких цветов, в ожерельях из спелых ягод. Трубят олени, вызывая на бой противников, кричат гуси, улетаая в теплые страны, заливаются дрозды с пеночками. Сидит у костра шаман и камлает, сидит напротив Белая Росомаха, свирепый и справедливый лесной дух. Плачут младенцы в чумах, воркуют над ними матери. Крадется тайной тропой охотник, танцует у ручья юная девушка, смотрит на внуков с улыбкой Энекан-Того, добрая Бабушка Огонь. Легко на Севере потерять жизнь, переломить судьбу как рябиновый прутик. Не любят здесь скупых и нечестных, пустозвонов и пустомель. Кто трудиться не умеет, гостей не привечает, родню обижает – не заживается. А к щедрым и верным, отважным и беспечальным, к тем, кто поет у костра и смеется над доброй шуткой, приходит счастье. Только на Севере понимаешь, как хрупка жизнь и до чего же она прекрасна!

Эти сказы о людях и духах, зверях и птицах, путях и преградах на пути. Есть где улыбнуться, о чем задуматься, над чем всплакнуть – всем нам доводилось расставаться, терять и провожать. Но за каждым расставанием неизбежно следует встреча. Читайте сказки и мечтайте о Севере, да будет с вами мудрость Белой Росомахи и благословение Бабушки Огонь!

За создание книги, за шаманские сказы и поток слов хочется поблагодарить: Гришу Берлова, который попросил первый сказ; Юлико Иначе, которая

поддерживала и вдохновляла верой в мое провидение; Диму Киташёва, который создал прекрасную аудиоверсию; Кэт Бильбо, которая поверила в сказы и убедила меня продолжать работу; Александру Неронову, которая увидела моих героев и воплотила их.

Оглавление

Сказ о том как пастух смысл жизни искал	5
Сказ о жадном охотнике и Белой Росомахе	20
Сказ о Златовласке	28
Сказ о тропе шамана.....	39
Та, что приходит ночью	53
Сказ о разлученных навеки	71
Сказ о небесной горе	86
Подарки Бабушки Огонь	107
Сказ об охотнике Эмемкуте и его жене-уточке	124
Сказ о матери	136
Сказ о звезде	150
Сказки про ворона Кэре и его жену, чайку Киракчан ...	158
Сказ о том, как в тайге великий хан появился	159
Ворон Кэре и заяц Муннукан	170
Ворон Кэре и медведица, которая гналась за солнцем	177
Как ворон Кэре жениться ходил	190
Как ворон Кэре с детьми сидел	199
Как ворон Кэре большую рыбу ловил	210
Как мышка Кучиду самого Кэре обманула	217
Как ворон Кэре грибы искал	230

Сказ о том, как пастух смысл жизни искал

Старики знают – с каким зверем человек поведется, таким и станет. С собаками якшаешься – будешь храбрый да верный, чужого порвешь, а своего прикроешь. Дикого поросенка вырастишь – упрямства от него наберешься, да нутряной силы. Белого олененка приютишь – начнешь следовать за солнцем, никакое зло не прилипнет...

Оленный пастух Учур нашел в тайге узорчатого змееныша и вынянчил словно кровного сына. На груди носил, молоком поил с пальца, мышей ему ловил, гаду. В чум к пастуху люди зайти боялись. Пес кудлатый лежит подле и не гавкнет, только язык вывалит. Заглянет гость под полог, ступит на коврик – и бежит прочь со всех ног, на ходу бранится. Змей шипит-заливается, пес хвостом бьет, весело ему, бессовестному. А Учuru ништо, знай смеется в кулак да на варгане наигрывает – брeнь, брeнь.

Жена его, черноглазая Чодура, и просила мужа и плакала – изведи аспида, а нет так назад в тайгу отпусти. Пусть живет на воле, ползет куда хочет. Скоро дети у нас пойдут, муженек, ужели им с брюхоногом под одним кровом жить? Дочку-то первенькую бездетной сестре отдали, едва девчонка грудь бросила. Так ведь небо других пошлет, дело нехитрое.

Пастуху ворчание жены понятно поперек глотки. То в тайгу уйдет, то ругнется, а то и замахнет на нее кулаком. Ну, Чодура в слезы, да к сестре в чум

жаловаться – обижает мол строгий муж. А Учур усядется у очага, трубочку забьет, дым клубами. И давай думать, что на свете как устроено.

Мысли-то в голове извилистые ютятся, словно следы змеиные. И чем дальше, тем путаней – зачем я на свете живу, ради чего тайгу топчу, мясо ем да детей делаю?

Вот звезда на небе горит понятно зачем – светит да путь указывает. Сосна однако растет – смолой течет, приют дает дятлам да белкам. Медведь-дедушка по лесу бредет, камни переворачивает, рыбу в реке ловит – тайгу оберегает, ханской властью над зверьми наделен. А он, человек с рожей, обшитый кожей – зачем есть-пошел?

Курит Учур и думает, думает и курит. Змей от него давно в тайгу уполз с голодухи-то, пес с волчицей снюхался да запропал. Стадо оленное поредело – кто свалился, кто отбился, кого Чодура тайком к сестре перегнала, а затем и сама туда перебралась. Заходила мал-мала мужу похлебку принести – кости да слезы. А Учур все сидит сиднем.

Дождь осенний пошел, через крышу течь стало, лишь тогда пастух с места поднялся. Собрал вещички, сунул в карман варган, выбрал оленя покрепче и поклонился жене. Так мол и так, пойду я, Чодура, до края света правды искать – зачем я на свете живу, в чем смысл?

Что жена Учурю на это ответила – ни в сказке сказать, ни пером описать. А ему все едино – пастух сказал, пастух

сделал. Отдарился огню, оседлал олешка и поехал себе в тайгу, куда глаза глядят.

День едет наш пастух, другой едет, третий едет. Тайга по осени щедрая, с голоду не помрешь, звери на людей не бросаются. Нойоны Белого царя мимо прошли с ясаком, китаец-знахарь прошел за дикими корешками, Иван-охотник прошел соболей бить, Иван-поп к дальним кочевьям отправился. Учур всех спрашивал – зачем, мол, люди живут на свете? И никто ему не ответил. Нойоны по шее надавать обещали, Иван-охотник выпить позвал, Иван-поп сказал –молиться надо, однако, и все поймешь.

А вот китаец послушал-послушал да и предложил – айда со мной, послушником станешь, а я тебе расскажу про смысл жизни. Учур и рад: спасибо, мол, отслужу не пожалуешься. И пошли они вместе.

На олешке теперь китаец едет, пастух следом ковыляет. Стоянку ставить – он полог натянет, дровишек соберет, китайский суп сготовит да подаст знахарю. Сам Учур похлебкой брезговал – там и лягушки, бывалоча плавали, и ужи и кузнечики. Добудет по дороге глухаря или там тугуна-рыбешки наловит, значит будет сыт. А нет – мха заварит с горсточкой ягод и пьет себе. Трубку курить бросил: табак-то вышел, а от китайского зелья дурные сны снились.

Китаец смотрел как пластается пастух и кивал головой: добро. По утрам стал подымать Учур ни свет ни заря, дышать учил, стоять учил, бамбуковой палкой махать

учил. А ошибется пастух – учитель по косточке рраз! И понимание в голову входит.

Там и к зиме дело пошло, снегом запахло. Нашел китаец на пустоши балаган каменный, сказал – зимовать пришли. Учур взвился: припасов нет, шкур нет, как жить будем? Отмахнулся китаец: добрая слава плывет впереди человека как осенние листья впереди льдинок. Все у нас появится.

Вправду, как прослышали люди, что знахарь у них поселился – потянулись к балагану. Кто пешком, кто верхом, кто на лодке приплыл. И у каждого своя хворость. В жизни Учур столько больных не видывал, иных недугов и представить себе не мог. Порой мутило от вони да дряни, а китаец бамбуком рраз! И в глазах проясняется.

Знахарь тоже не всякого пользовал, а с разбором. Одних мазями мазал, дымом окуривал, травами своими поил, иголками в людей тыкал. Другим говорил – к шаману иди или к попу Ивану, не моя работа. А на иных только смотрел печально и на сосну показывал – пора, мол, помост готовить. Мольбы не слушал, на золото не покупался, а если грозить начинали – бамбуковая палка выручала. На прожитье и того хватало, что благодарные люди несли.

При другом хозяине Учур бы как сало в жиру катался, соболиной полостью укрывался, с серебра ел. А китаец брал как птичка клюет. Если оставалось лишнее,

раздавал пришлым, бормотал что-то по-своему и раздавал. Одна только слабость была у старика – чайники да чай, тут не отказывался. Сидел у очага вечерами, перебирал сокровища, то один лист заварит, то другой запарит. И нет бы как добрые люди с салом да молоком, горькую жижу прихлебывает и счастлив.

Ученики к китайцу просились не раз и не два, случалось по неделе подле балагана сживали, молили: возьми, учитель! А он кланяется мелко и бороденкой качает. Учур спрашивал – может их палкой ррраз! Тут знахаря смех пробрал. Говорит: палкой послушников лупят, а на чужих и бамбук нечего переводить. Понял? Учур аж загордился – приметил его китаец, избрал.

Зиму перемоглись кое-как. Пастух и журавлем стоять научился и барсом прыгать и подстилку перестилать, если больной обделался, и покойников обмывать. Да только как заплакали ели последним снегом, как пошли перекрикиваться над тайгой журавлиные стаи, снова затосковал-то. И так к знахарю подойдет и этак подвинется: в чем смысл жизни? Китаец его палкой ррраз! Палкой дддва! – не помогает. Ходит пастух как в воду опущенный и в глазах тоска плещется.

Посадил его раз китаец на поляне, встал напротив и давай тары-бары разводить. То по-китайски, то по-тунгусски вещает. Слушал-слушал Учур, сморил его сон, клюнул носом, глаза открыл, снова слушает.

- Известно, что птицы умеют летать, рыбы — плавать в воде, а животные — бегать. Я также понимаю, что тенетами можно поймать тех, кто бежит, сетями — плавающих, а силками — летающих. Однако если говорить о драконе, я не знаю, как его поймать. Он носится по облакам и поднимается на небо. Сегодня я видел Лао Цзы. Может он и есть дракон?

- И смысл жизни знает?

Захотел его знахарь палкой огреть, да руки у старика опустились. Как объяснить грубому варвару мудрость Конфуция? Завтра побеседуем, вдруг вникнет.

...А завтра не получилось. Явился ночью к балагану дивный зверь вроде змея с крыльями да когтями. Зашипел на учителя — а китаец не будь дурень тоже давай шипеть да кланяться. А потом взял из балагана свой сундучок, сел змею на спину и исчез даже не попрощавшись. От луны до луны ждал Учар, потом плюнул, собрал во вьюки остатки добра, оседлал олешку и поехал, куда глаза глядят.

Едет, думает, размышляет да так витиевато, что гнус его, умника, стороной облетает. А вокруг красота несказанная. Ландыши не отцвели еще, шиповник лепестки распустил, колокольчики колышут головками, в траве то тут, то там цветок мелькнет — желтый, красный, голубой. Знахарь-то небось все имена знал, а Учур ни слухом, ни духом. Мало цветов — дрозды поют-заливаются, синички чирикают наперебой, лебеди на

озерце парами плавают, росомах росомаху обхаживает, бурундук орешки несет своей бурундучке.

Всякой твари есть пара, а он, корень еловый, свою баб-то выбросил, подбирай кто хочет. Подобрали уже наверное – Чодура видная, статная и фигурка до сих пор как у девушки. Выйдет в круг плясать с бубном, краше ее нет в становище. Как жена на него ворчала-то забыл уже, а как ласкова с ним была в жениховстве помнит.

Вдруг из чащи лесной голосок звонкий напеваает: там, где встретятся семь лучей солнца, соберемся танцевать в красивой долине, приходи мой возлюбленный по оленьим следам.

Ужели Чодура за мужем на край света отправилась? Хлопнул Учур олешку по бокам, тот ходу прибавил. И вынес пастуха на поляну, голубыми цветами усаженную. А там сидит страховидло, сразу-то не поймешь, что такое. Голова как валун лысая, спина как холм, лапищи заgreбушие, зубищи закусущие, когти каждый длинней ножа, глазищи огнем горят. Злой дух как есть. А из пасти девичья песенка льется. Олешка так и встал четыремьа копытами в землю, Учур рот разинул. Дух спрашивает:

- Хорош ли мой голосок, парень, складна ли песенка?

- Хорош, да на твой не похож.

- Ай, парень, я любым голосом песню спою – хоть гагарой закричу, хоть волком завою, хоть бабой чумовой притворюсь. Подходи да послушай.

- Не до песен мне нынче. Скажи мне великий дух, может ты знаешь – в чем смысл жизни?

- Чего-чего? Подойди, парень, поближе, глуховат я стал, плохо слышу.

Ну олешка-то дальше идти отказался. Слез Учур наземь, подобрался к страховидлу да крикнул:

- Зачем человек на свете живет?

- Ой туг я на ухо, подойди еще.

Ну Учур не жаль еще шажок сделать. Тут-то злой дух его когтями и ухватил, пасть разинул, пообедать собрался. Это он зря.

Даром что ли китаец пастуха бамбуковой палкой пользовал? Достал Учур верный нож, отрубил чудищу коготь, по ручище как по дереву влез на загривок и давай туда-сюда тыкать. Голова-то у страховидла каменная, а туша мясная. Дух орет, грозитя, по поляне скачет, топают так, что деревья дрожат. Наконец смирился:

- Ай-ай, хватит, отпусти меня, парень, и проси, чего хочешь. Золота, серебра, собаку охотничью, оленя ездового, чтоб никто не догнал?

- Скажи, людоед, в чем смысл жизни, и отпущу.

- Хочешь режь насмерть, парень, не скажу – знать не знаю.

- А кто знает?

- Энекан-Того, Бабушка Огонь. Мать матерей ваших матерей. Сколько земля здесь стоит, столько она здесь живет, внуков своих оберегает. К ней ступай, на большую черную гору, а меня в покое оставь.

- Будешь еще людей есть, идол несытый?

- Ай, не буду! Мамой клянусь каменной, что не буду!

Подумал Учур да и спрыгнул вниз. Клятвопреступника земля не носит и вода не принимает, правду злой дух говорит. Пусть лягушек кушает да лосям головы морочит.

До черной горы-то не враз дойти вышло. Дорога туда вроде близкая, а не прямая – через овраги да буераки, реки широкие, чащобы густые. Пока добрался пастух до подножия, земляника покраснеть успела, волчата из нор вышли. Поглядел Учур на гору, не по себе ему стало – лезть высоко, камни острые, а олешка и вовсе не подыметя. Пришлось отпустить восвояси – оленные духи подсобят, не пропадет, к стаду прибьется. Погладил рогатого, угостил чем пришлось, да наддал по крупу – беги, друг. Остался пастух один.

Вьюки за время пути полегчали конечно, а все ноша. Нагрузился Учур и давай карабкаться. С утра до ночи лез, где на ногах, где на карачках, а где и ползком словно змей. Устал аж ноги подгибаться стали. Хорошо ручеек отыскал, напился вкусной воды, а к вечеру и площадку разыскал ровную для ночлега.

Тут бы и уснуть, завернувшись в шкуры, да непорядок. Собрал Учур стланника да вереска, костерок развел, щепоть оленьего волоса туда бросил да комочек сала угостить духов. Потом для себя чайник подвесил. Чай-то давно вышел, зато вереска с чабрецом в горах – как блох на песце. И только пастух налил кружечку, как к огню старушка подходит – откуда только в горах взялась? Торбаса на ней расшитые, кафтан новенькой, повязка головная жемчугами усажена. Подходит, значит, и смотрит.

Учур конечно сразу шкуру ей расстелил, усадил, чаю налил, гусиную грудку достал копченую. А старушка-то не промах – раз и чай выхлебала, два от мяса ни ломтика не осталось. Учур покопался во выюках, ребрышек оленьих добыл, а старушка только зубами клацнула, да косточки в кусты бросила. Вздохнул Учур, да делать нечего. Последнего муксуна берег на черный день. Старушка и рыбку спроворила без оглядки. И щурится – что хозяин скажет?

- Не обессудь, бабушка, что угощаю скудно? Может еще чем порадовать?

- На верхнее небо сходить, луну на спине принести, а заодно и солнце.

- Хорошо, бабушка, дай только выспаться до утра – умаялся нынче.

- Вправду что ли пойдешь?

- Слово гостя закон.

Встала старушка, обняла Учур горячо-горячо – чуть кафтан не задымился.

- Ишь какой у меня справный внук. Сказывай своей бабушке зачем на гору лезешь? Олени не плодятся, дети не рождаются, али обидел кто?

- Смысл жизни ищу, бабушка!

- Ой-ва-вой! Такой хороший внук и такие глупости думает. Ладно, утро вечера мудренее. Солнце взойдет – укажу я тебе смысл жизни.

Завернулся Учур в шкуры, лег у костра, а за старушкой впологлаза приглядывает – а ну как опять змей явится или медведь с человеческой головой или еще какая напасть. Так до рассвета и проворочался. Как солнце встало, повела его Бабушка Огонь вниз своими тропками. Вывела на полянку малую подле озерца – там и балаганчик стоит и дровишек кто-то набрать успел. Усадила, полезла в дом и расстелила на траве сырую шкуру, большую-пребольшую. Десять шагов в длину пять в ширину, красным волосом грубым заросла плотно, а пахнет... ой как пахнет, хоть нос затыкай.

- Смотри, внук, вот твой урок. Вычистишь шкуру, выдубишь, высушишь, все прорехи залатаешь – и поймешь, зачем жить на свете. Уговор?

- Уговор, бабушка, и вечная благодарность!

Обернулся Учур комара согнать – Бабушки Огонь и след простыл. А шкура-то никуда не делась, лежит, пахнет. Невелико дело – вычистить, высушить, печенью вареной смазать, золой протереть, да просушить еще раз. Любая баба справится, что тут сложного?

Трудится Учур, рук не покладая, - а шкура все та же. Один кусок отчистишь, другой смердеть начинает, один кусок отрежешь, два на его месте вырастут. Заштопаешь – под иглой разорвется, рыбьим клеем заклеишь – треснет. День возится пастух, другой возится, уже и новый месяц родился, и ягоды созрели и трава жухнет, а шкуре хоть бы хны.

Отощал Учур, изработался, измаялся, пальцы в кровь стер. Приметил он – каждое утро на шкуре плечи да дыры заново отрастают. Надо, вишь, постараться и от звезды до звезды успеть урок исполнить. Спать перестал пастух, есть перестал – ан нет, хоть кусочек да не успеет доделать. Другой бы и бросил, но он упорный – даром что ли дел наворотил? Разберусь, в чем смысл жизни, а там хоть помирай.

Дни короткими сделались, тучи супоросые по небу ползают, вот-вот белыми птицами разродятся. Со дня на день Сингилгэн настанет, день первого снега. Соберутся люди у больших костров, песни петь, еду делить и радоваться. Молодые охотники покажут, готовы ли они стать взрослыми, молодые красавицы рукодельем начнут хвастать, женихов приманивать. Старики усядутся на меховые коврики, станут чай пить, табак курить,

языками цокать – ай, хорошо! Собаки сытые за кости драться не будут, лягут подле своих хозяев ноги им греть, да на небо погавкивать: ав! Ав!

Услышав лай, отвлекся Учур от шкуры. Кто его навестить решил, кто доехал до дикого края? Глянул – а там пес его, который с волчицей снюхался, трусцой бежит. Дранный весь, полхвоста нет, ухо откушено, ан лыбится, язык вывалил. Следом змей ползет, шипит-заливается. И последним олешка трюхает – не съели его волки, не приманили вольные оленухи. Обрадовался им Учур как родным, обнимает, гладит, ласковыми именами зовет.

-Ужели помочь пришли в моей беде? Вместе мы сладим шкуру, отдадим ее Бабушке Огонь и узнаю я, в чем смысл жизни.

Переглянулись звери между собой. Пробежал олешка по шкуре, затопотал острыми копытами – только клочки полетели. Плюнул змей ядом на мех – расползся тот словно талый снег. А как поднял ножку дранный пес – и вовсе издохла шкура, смрадным болотцем разлилась, в траву впиталась и исчезла, как не бывало.

Разгневался было Учур, заругался, палкой начал грозить. А потом плюнул наземь, собрал дровишек, костер развел. Пес из леса глухаря приволок жирного, олешка грибов натаскал подмороженных, змей ягод красных с болотины. Сел Учур пировать с друзьями, а там и снег подоспел, крупный, мягкий – быть удаче зимой. Играет пастух на варгане – брень, брень. Олешка копытами в

землю как в бубен бьет, змей раскачивается, пес скачет-танцует. Вот тебе, бабушка, и Сингилгэн!

Поутру собрались в обратный путь. Долго ли коротко ли ехали, о том неведомо. Но до стойбища добрались. А там пир горой, бубны бьют, девки поют – свадьбу играют.

Выходит его Чодура за пришлого якута, стоит вся в меха укутанная, а по лицу слезы текут. Ну за Учуром не залежалось. Вспомнил он, чему его старый китаец учил, схватил с саней хорей и давай гостей угощать. Стариков только не тронул, остальным от души досталось. Пес за ним скачет, врагов за ноги кусает, олешка задом поддает, змей шипит – страх да и только.

Разогнал Учур гостей, взял жену за руку:

- Люб ли я тебе, Чодура, простишь ли мужа?

Носом шмыгнула женщина, обняла мужа, в чум повела. А там парнишка крепкий на ножки становиться пытается, с лица один в один Учур. Обрадовался пастух, похвалил жену, приласкал сына, порылся во вьюках да отдал гостинчики – не все, что китайцу несли, водой щедрости смыло. Надела Чодура золотые обручья, вдела в уши серьги с камнями, подвязала волосы расшитой повязкой и помолодела враз, красавицей стала. Тут очаг полыхнул – добрый знак, видать Бабушка Огонь не сердится на непутевого внука.

На радостях Чодура и змея простила, в чум пустила, молока ему налила. Псу верному не костей обглоданных,

а грудинки копченой бросила. Олешку расчесала гребнем, повязала ему рога ленточками – загляденье! И все хорошо стало.

Только как проснулся Учур посреди ночи, вышел из дому до ветру – почудился ему в темноте старый китаец. Посмотрел укоризненно, бороденкой седой покачал – чашу мира, мол, променял на бабий бок теплый. А не то, глядишь, стал бы мыслителем, сосудом великой мудрости. Вздохнул Учур, сделал то зачем вышел, да назад вернулся, досыпать рядом с женой.

Жил он с той поры долго да счастливо, сыновей да дочек наплодил не перечеть, стада развел богатые, табак ему в стойбище купец Иван возил, сахар белый, да чай китайский, как камень твердый. А Учур отработав день, сидел себе на коврике, курил трубку, попивал пуэр, да на варгане играл – брень! Брень!

А если кто спрашивал: нашел ли ты, оленный пастух, смысл жизни, улыбался довольно. Обнимал толстую жену, поглядывал на справного младшего сына, целовал в чешуйчатую морду старого змея и ничего не отвечал. Сами поймете, мол. Так-то!

Сказ о жадном охотнике и Белой Росомахе

Жил в тайге охотник... как его имя, знали разве что мать с отцом, а соседи звали Гарпани. Был он смолоду метким стрелком, немало набил соболей да лисиц, много таньга заработал. Хорошо бы жила жена Гарпани, сытыми бы ходили крепкие сыновья да луноликие дочери. Вот только замучил охотник свою жену скупостью необычайной.

Сам мясо в полрта ел, а бабе одни косточки доставались, сам меха до плешин занашивал, а бабе отдавал обноски. Пожила она в скудном чуме зиму, промаялась лето, а потом купцы через тайгу шли, поманили – и увязалась. Соседи сказывали, видели ее в городе, румяную, гладкую, в русском платье. А Гарпани что – баба с саней, оленю легче. Взял к себе вдовую сестру жить, посадил шкуры мездрить да мясо варить, а та и рада. Сыновей, вишь, мужняя родня забрала, а кривенькую дочку оставила – куда им без мужика податься?

Гарпани косился сперва на лишний рот, думал девчонку в лес завести зимой да забыть ненароком. Ан в холода не успел, а летом и думать забыл, что хотел извести нахлебницу. Сестрина дочь, даром что мала, работницей оказалась – куда там взрослым. Полог выбьет, кафтан зашьет, рыбу выпотрошит да развесит, ягод наберет, оленуху подоит да с поклоном поднесет дорогому дядюшке молока с голубикой. Гарпани и растаял, кой-когда и порченый мех отдавал на наряды разумнице, а

единожды расщедрился – красных лент ей привез из города. Девчонка гордилась.

Жить бы им поживать, да время спуску не знает. Повдовела сестра пять зим, а на шестую снесли ее на помост в лесу, зашили в оленью шкуру и оставили ветру в невесты. Сам Гарпани тоже стареть стал – ноги не бегут, руки не держат, глаза водицей затягивает. С ружья-то перешел на капканы, повадился дичь на подман брать. Оскудел мало-мало и еще скупей сделался.

Девчонка выросла, налилась, заневестилась. Называли ее Игэликте – Смородинкой, за румяные щеки да сладкий говор. Кабы не слепой глаз да пустой чум, давно бы укатили ягодку в новый туесок. Так-то подлаживались, да Гарпани всех гнал батогом. Кому охота на старости лет одному остаться? Заедал охотник молодую жизнь и не совестился.

Ну, девчонка-то на парней не глядела, знала свое убожество. Трудилась себе на дядюшку, шкуры скребла, мясо варила, оленух доила. А как время оставалось – расшивала невестам пояса бисером, да такие, что хоть глаза жмурь – солнцем сияют, луной блестят, лесной ягодой пестрят-рассыпаются. Так бы и прожила свой век, да к селению беглый Иван прибился. Щуплый, тощий, в чем душа держится, на глазах ледышки носит, трубку курить не может – сразу раскашляется, да и без трубки-то за грудь хватается.

Пожалела его Игэликте, барсучьим жиром да багульником отпоила, изловила черного дятла да упросила шаманку сварить птицу в снежной воде, как старики делали. Морщился Иван, плевался, ан выпил. И на поправку пошел, к весне гладкий стал, крепкий. И все нахваливал Игэликте – мол, и мастерица она, и косы длинные, и ленты алые, и губы сахарные. А вот поедем с тобой в Петров Бор, там шаман-доктор стеклянный глаз сделает, никто и не заметит, что крива. Я же с тобой закон приму, в церкви как есть обвенчаюсь.

Верила ему Игэликте да и не верила, сладкие слова все говорить горазды. Ан в рощу бегала и пела с утра до ночи, не замолкала. И пояс шила себе, яркий, как перья казарки. Как дошла – пришла к дядюшке да в ноги бросилась – мол, люб мне Иван, отпусти с ним в Петров Бор жить. Посмотрел на сестрину дочь Гарпани и ни да, ни нет не сказал, обещал подумать.

Вот только мысли у охотника были одна другой черней. Не хотелось ему Смородинку от себя отпускать, бобылем в чуме оставаться. Каждый день уходил Гарпани проверять капканы, а пока кружил по тайге, замышлял недоброе. То прикидывал заманить Ивана в чащобу да вывести на медвежий капкан, то в болотную топь тропу указать, то застрелить из ружья да бросить – лисы сожрут, а беглого никто и не хватится. Парнишка-то был доверчивый, ему скажи, мол, лесная свинья человечье дитя выкормила, соври, что олени меж собой считаются – кто волкам на корм пойдет, сбрехни, что видел белую

росомаху, – поверит, как маленький. Сгубить человека не сложнее, чем оленя в стаде завалить. ...Прознает Игэликте – бросит дядюшку, может, и отомстить решится. Ради чего тогда капкан ставить? Нет, тут хитрей надо.

Подумал Гарпани да и сказал сестриной дочке, что в верховья пойдет за рыбой. Страсть как охота пыжьяна отведать, белым мясом полакомиться. Вернется, мол, там и порешаем. Дело к осени, самое время свадьбы-то играть.

Собрался чин чином, сальца кусок в костер бросил, покормил духов, да и пошел. До первой протоки, а там свернул с русла и в город. Ведал охотник – прознают нойоны Большого царя, что в селении беглый, тут же прискачут, закуют Ивана в железо, уведут – и прости-прощай. Поплачет Смородинка, да и забудет свою присуху. А он, Гарпани, ни при чем – в тайгу ходил, пыжьяна ловил, знать ничего не знаю.

До города-то пять ден пути, ежели в балаганах не разлеживаться да с тропы не сбиваться. Шел Гарпани упорно, побряхтывал да шел. Первую ночь прохрапел у нодьи мирно, даже волков не слышал. Вторую ночь неможилось старику, не спалось – словно кто ходил вокруг стоянки, ветками трещал. Глянул поутру охотник – а следы-то росомашьи, разлапистые. И белые волоски на сосне, где зверь когти точил. Тут-то Гарпани призадумался еще раз.

Откуда взялась Белая Росомаха, все знают. Давным-давно, когда пришли в тайгу тумены монгольского хана,

жила в тунгусском селенье девушка Либгэрик – Снежинка. Кожа белая, как оленьё молоко, глаза черные, как волчьи ягоды, губы алые, как малина. Так хороша была Либгэрик, что мох стлался ей под ноги, березы укрывали от солнца, седые волки приносили добычу к пологу ее чума и старый Хозяин прятался в берлогу, чтобы не напугать красавицу грозным видом.

Молодые охотники и храбрые вожди приходили к ее отцу, старому Торганая, обещали сто оленей, железный топор и резной посох из великаньей кости, лишь бы усадить снежинку на свою рукавицу. Но красавица любила молодого шамана, того, что орлом летал к верхнему небу и змеей заползал в нижний мир. А шаманам нельзя брать жену – духи приревнуют, приходите перестанут. Так жила Либгэрик ничьей невестой.

Как пришли монголы да пошли резать всех подряд, мох кровью пропитался, оленухи три луны потом красным доились. Всех мужчин перерезали, всех мальчишек выше тележной чеки. Женщин поделили, как скот. Красавица Либгэрик досталась толстому хану с усищами до груди. И приглянулась монголу, пришлась по сердцу. Он ей и золота, и серебра, и меха, и каменья, лишь бы та улыбнулась. А девица смотрит на толстяка, как Иван на тухлого лосося, и знать хана не желает.

Нашлась одна завистливая бабенка, позвала толмача, передала монголу, что был жених у красавицы, молодой шаман. И ради него Либгэрик что угодно сделает.

Почесал хан косматую грудь, покрутил ус, да и позвал к себе строптивицу. Так мол и так, отыскали мы вашего шамана в глухой чащобе. Лишь от тебя, красивая, зависит его судьба – станешь мне женой, пощажу божьего человека, нет – мои нукеры ему живо пятки к затылку приставят.

Проплакала красавица ночь, поутру согласилась. Нарядили ее в белое платье, совиными перьями украсили голову, да и отвели в шелковый шатер на сафьяновые подушки. День Либгэрик при хане, два, десять. Спрашивает – где наш шаман, не обижают ли его. Расхохотался хан, велел коней седлать. Поехал с женой на пожарище, показал ей острый кол, на колу череп, птицами добела обклеванный. Вот, мол, твой шаман.

Ничего не сказала Либгэрик, даже взгляд на хана не подняла. А как взошла над тайгой полная луна, оборотилась белой росомхой, загрызла своего мужа и исчезла в тайге. И с тех пор – а минуло ой сколько лет – является, если кто задумал злое предательство. И разбирается как умеет. А росوماхи так умеют, что даже старый Хозяин с ними связываться не любит.

Будь Гарпани трусом, а не скупцом, плюнул бы на сухой мох тропы, свернул бы к верховьям за рыбой, и сказка бы кончилась. Но охотник отличался упрямством. Да и береги на нем бряцали знатные – от волка, от медведя, от злой судьбы, дурного глаза и охотничьей неудачи. Так-то и росوماху отгонят.

Третью ночь Гарпани ночевал в якутском лабазе, поближе к людям. На четвертое утро тронулся короткой дорогой – через чащу, зато быстрее. Шел он, шел, солнце уже за верхушки деревьев попряталось. И вдруг на рябине увидел Гарпани хромого соболя. Зверек чахлый, а мех на нем лоснится, как у здорового. Сшибил его охотник камнем, чтобы пули не тратить, подобрал тушку – глядь-то, а в зарослях еще соболю.

Пошел за ними охотник, раз – и выбрел в соболиную деревню. Хатки стоят из веточек да мха, бурундуки вместо лаек шныряют, рыбешка мелкая на кустах сохнет. И соболей – видимо-невидимо. Красивые, гладкие и человека вообще не боятся. Гарпани айда зверье душить без расчета. Сворачивает шею и в кучу бросает. Выросла груда по пояс охотнику, а ему все мало – хатки ворошит, мало ли кто затаился. Вон-то белеет в кустах...

Росомаха и вылезла. Шерсть как снег белая, искринками играет, глаза зеленые, как болотная водица, когти острые, словно льдинки на ледоставе. Раз рыкнула чудо-зверь – и соболя разбежались живыми. Два – хатки зазеленели, непролазным шиповником поляну обняли. Третьего раза охотник не стал дожидаться, побежал со всех ног. Перебрался через колючки, похромал дальше исцарапанный да испуганный. Все клянет: сестрину дочку, Ивана, лес, а пуще всего белую росомаху. Тут за спиной снова рык, воню звериной пахнуло. Прибавил бегу Гарпани, помчался куда глаза глядят. И – кланк! – попал в медвежий капкан ногой.

Двое суток провалялся охотник на мокром мху без еды и питья. Облизывал по утрам мох, тем и спасся. Потом промышленник один из крещеных якутов его нашел. Положил на сани, отвез в город, отправил в больницу. Дешево отделался доносчик, поседел весь, заикаться стал и до ветру иной раз не успевал сбегать. Но и на этот товар купец нашелся – приехал в город ученый Иван, царев хаким, поглядел на Гарпани и давай его тиранить. И так, и сяк – как, мол, жили-здоровствовали, уважаемый тунгус, сколько детишек народили, какие у вас сказки рассказывают да песни поют. Охотник сперва мялся, потом рассказывать начал, а потом и привирать, чтобы покрасивей было. Ученый Иван только ахал да записывать успевал. Потом посадил болтуна в сани и увез в царев город. Что с ними стало дальше – одно небо знает, а Гарпани в наши края больше не возвращался.

Игэликте осталась в чуме. Сперва ждала возвращения дядюшки, потом искала его, а потом старики сказали – нет у Гарпани сына, и брата тоже нет. Забирай все, Смородинка, владей по совести! Настырный Иван долго упрашивал любушку – покатили да покатили в Петров Бор. Да только пока солнце к зиме клонилось, живот у Смородинки все круглится, расшитый пояс на нем перестал сходиться. Родила жена Ивану двух сынов разом, и дочку следом. А потом еще дочку, Мэнгунэри, Златовласку. О ней и будет следующий сказ.

Сказ о Златовласке

Когда появилась на свет Мэнгунари-Златовласка, удивилась бабушка-повитуха, и роженица Игэликте-Смородинка ахнула – не видали еще в становище таких детей. Что родилась в рубашке не диво, диво другое. Кожа у ней снега белей, кудрявые волосы как солнечный свет золотые, глаза синевой ручья отливают. Обычно младенец на свет является страшной зимнего духа, а девчонка красотой так и блещет. На груди пятно родимое – знак удачи. Откуда что взялось?

Первые-то сыновья у Смородинки, близнецы Алдай да Улгэр, оба крепкие, черноголовые, за оленями уже бегают. Говорят, что двойня несчастье приносит, да мало ли что болтают старухи зимою у очага. Дочка Юлтэк тоже удалась на славу – глазки узкие, щечки красные, вся в мать. А Мэнгунари видать в отцову родню выдалась. Сам Иван сказывал, мол дочка на прабабку похожа, а прабабка-то не простая, к белому царю в чум ходила. Ну и радовался конечно.

Как Гарпани-то запропал, жили они со Смородинкой хорошо, грех жаловаться. Иван торговлю наладил, шкуры в городе продавал, ровдугу-замшу да кафтаны расшитые. Охотник из него вышел плохонький, зверя больно жалел. А вот считать русский умел ой как ловко и в делах толк знал. Сам водку не пил, родне отсоветовал и купцам наказал – кто с хмельным заявится, ни поросячьего хвостика в наших краях не купит. Купцы побранились, да

стали вместо водки чай с табаком возить, а обманывать охотников зареклись надолго.

Другой бы разбогател, соболью шубу завел, вторую жену взял, да больно щедро Иван хозяйничал и Смородинка ему вторила. Соседям помогали, сирот подкармливали, старикам чай да муку заказывали из города. Но и себя не обижали. Еды в достатке, сани новые, ножи стальные, котлы чугунные. А на забаву жене меднобокий красавец самовар, медный таз ребятишек купать и серебряное зеркальце с узорчатой ручкой. С зеркальца-то беда и пошла.

Что Мэнгунари красавица только немой не говорил. Сперва чурались, мол непохожа на наших, а потом разглядели. Хорошела девчонка с каждым годом, распускалась словно душистый маральник. И наглядеться на себя не могла – выпрашивала у матери зеркальце и часами смотрелась. А нет так к озерцу пойдет или к луже наклонится и любуется, до чего ж светлолика.

Детишки из становища за ней хвостиком бегали, каждый дружить хотел, каждый одаривал – кто ягодами, кто орехами, кто резными бусами или пушистой шкуркой. А она перебирала – у кого взять, у кого не взять, а чей подарок на землю бросить, да ножками в белых торбасах потоптаться. Другую бы поколотили за такие забавы, а Мэнгунари только смеялась звонко и выбирала, над кем еще подшутить.

Отец с матерью ее баловали – больше у Смородинки детей не рождалось, а младшим всегда и кусок слаще и постель мягче. К работе девчонку долго не приставляли. Другие в ее годы и хворост собирали для очага и ягоды-грибы искали и за малышкой следили. Шустрая Юлтэк уже воду носила да рыбу чистила, что братья с реки носили. А Мэнгунари все из травы кукол вертела.

С годами правда выявилось, что не только волосы, но и руки у красавицы золотые. Смородинка одни пояса расшивала, Мэнгунари за любое рукоделье бралась. Кафтаны отделявала, головные повязки, торбаса да кисеты, ножны к ножам охотничьим. Да не просто так – с выдумкой, с хитрецей. Ни у кого таких узоров не встречалось. Спрашивали у нее девушки-подруги – кто, мол, тебя учит? Мэнгунари отшучивалась – звери лесные подсказывают, духи речные жемчужинки подбирают.

Может и так – раньше, бывало, толковала девчонка, что слышит, как замшелые валуны между собой беседуют, видит, как лисий шаман хвостом следы замечает. Но подросла и все сказки в узоры перевела.

И вот сидит она подле чума на медвежьих шкурах, разодетая словно ханская дочь, вышивает узоры, напевает о белом олене и белых цветах-подснежниках. Голосок у ней небольшой, да звонкий, как синичкин пересвист. Парни мимо ходят, шеи сворачивают, глаза мозолят. Подружки рядом толкуются, узоры перенимают, подольститься к красавице норовят. А мать с сестрой пластаются – шкуры мездрить надо, еду варить надо,

одежду чинить, о мужчинах-добытчиках позаботиться. Некогда песни-то петь.

Другая сестра бы поедом Мэнгунари ела, белоручкой славила. Юлтэк же незлобивой уродилась и Златовласку жалела. Девичий век короток, пускай нежится, пока из гнезда не вылетела. Заботилась старшая о младшей – то первой земляники ей в туске принесет, то совиных перьев. Златовласка морщила нос, но брала и благодарила. Однажды она и сестрин подарок оземь швырнула, мать увидала и выбрала бессовестную прилюдно – ой, как стыдно-то вышло.

Годы быстро летят, а обратно как птицы не возвращаются... Сперва братья женились, разлучились в первый раз в жизни, в разные чумы расселились. Затем Иван в Петров Бор уехал – разыскала его родня, попросила прибыть, наследство по совести поделить. Затянулись дела – зиму отец дома не жил и по весне не вернулся. И Смородинка погрустнела, ссутулилась – жена без мужа, что хорей без саней.

Краснощекая Юлтэк между тем второй год как невестилась. Неказиста уродилась, а туда же, носом крутила. Полюбился ей молодой охотник Гетчан-Ястреб. Рослый, ясноглазый, сильный да ловкий, на медведя в одиночку ходил, росомах бил, лосей на солонцах брал. Любая бы за такого пошла.

Прямым путем к завидной добыче не подъехать, умный окольную тропку сыщет. Повадилась Юлтэк к матери

Ястреба подлаживаться, да хитро, с умыслом. То котел поднести поможет, то строптивую оленуху придержит, то совета у ней просит, как, мол, матушка, глухаря приготовить, чтобы мясо хвоей не отдавало? Та и рада рассказать. Дочки у ней нет, сыновья старшие переженились, а одной в чуме невесело.

И повелось – вернется Гетчан с охоты, глядь в чуме девчонка хлопчет, еду подает, песни поет, а матушка на шкурах посиживает да улыбается. Долго ли коротко ли, сладилось дело. Явились сваты к Смородинке, стукнули оземь резными посохами – Ястреб, мол, пять оленей сулит за твою старшую. А та и рада дочь замуж выдать за хорошего парня.

Мэнгунари-то пришлось ручки испачкать, за труд взяться. Счастливой Юлтэк до сестры дела нет, мать нет-нет да и прикрикнет – полог выбей, собак покорми, сига выпотроши. У девчонки в голове птица с хвостом о семи шелках, а ей потроха рыбы мацать да в яму бросать. Озлилась Златовласка на сестру, позавидовала ей. Ну и высмотрела на лесной тропе Гетчана-охотника, улыбнулась ему ласково. Знала, что никто не устоит против ее красоты.

Луны не минуло, как Гетчан сам к Смородинке явился. Поклонился в пояс, посулил пятьдесят оленей, барсову шкуру да золотой корень, что в самом сердце тайги растет. Отдай за меня Златовласку, матушка, и прости что другую твою дочку обидел.

Мать в слезы, сестра в крик, охотник на коленях стоит, унижается, словно волк перед волчицей во время гона. А Мэнгунари молчит да на Гетчана поглядывает – проси пуще, твоя буду. И волосами потряхивает – от их сияния последний разум у парня пропал. Ляпнул, что жизни себя лишит, если Златовласку в свой чум не приведет. Что поделаешь? Согласилась Смородинка и старшую дочку утихомирила. Если в сердце любви нет, а в душе верности – зачем такой муж?

Начали к свадьбе готовиться, наряды шить, приданое собирать. Вот только подружки от Мэнгунари отвернулись – кто Юлтэк любил, кто на Гетчана заглядывался, кто за своих женихов боялся. И старухи лица кривили – недоброе дело у сестры парня уводить. Хорошо, таньга хватало, что Мэнгунари шитьем добыла – привезли братья сестре из города и торбаса чудные и платье как у купчихи и самовар медный, да побольше материнского. А там и Иван из Петрова Бора вернулся, несолоно хлебавши. Побранился на младшую дочь, пожалел старшую, а что поделаешь?

Как зазолотилась листва в тайге, собрали приданое, разложили, показали старухам – мол, щедро выдаем дочь, без обиды и без обмана. Девушки становища собрались одевать невесту, песни петь да сказки рассказывать. Не хотели идти, да пришлось, Смородинка за дочь просила и Юлтэк, скрепя сердце, вторила. Нарядилась Мэнгунари, засияла полуденным солнцем,

глянула на себя в зеркальце и рассмеялась от счастья. Не видывали в становище такой богатой невесты.

Усадили красавицу в сани, повезли шумным поездом вокруг становища. Приплясывают девушки, свистят парни, шутят кто как умеет. Развеселились люди, свадьба все-таки, не похороны. Воздух нюхают, причмокивают – пир готов, рыбы наловили, молока надоили. Гетчан медведя добыл, старухи мясо сварили с ягодами и жиром, на всех хватит. Парень медвежатины отведаст, сильный станет, крепко жену полюбит, а у бабы здоровые сыновья родятся.

Вот и чум жениха разукрашенный, в три слоя дощатый пол покрыт шкурами. Мать Гетчана стоит у входа, делает вид, будто рада невесте. Братья выхваляют красавицу, славят ее золотые руки да золотые кудри, жены их сгружают с саней приданое, пересчитывают котлы да кафтаны. Жених сияет как медный самовар, на месте ему не стоится. Невеста улыбается, кудрями потряхивает, городским платьем землю метет.

Шаман костер разводит священный – пять поленьев подобрал загодя, пучки волоса с семи шкур срезал, десять трав засушил. Угостят жених с невестой медвежьим салом огонь, трижды обойдут посолонь и пировать можно, а там и поживать молодых проводят.

Взял Гетчан угощение, кинул в пламя – зашипело, засмердело, мало-мало не потухло. Покачал шаман головой: дурной знак. Взяла Мэнгунари сало, бросила –

засиял костер жарко-прежарко. Брызнули искры во все стороны, отшатнулись гости, отпрыгнул шаман и жених отскочил. А Златовласка не успела. Охватило пламя тканый наряд, огладило золотые волосы, коснулось белой кожи.

На минуту сделалась Мэнгунари красивее всех женщин земли - словно дух с верхнего неба спустился в становище, озарил светом кроны высоких сосен. Закружилась невеста по поляне, раскинула руки-крылья, запела о белом олене и белых подснежниках...

Если бы не Юлтэк, сгорела бы красавица насмерть. Но спасла старшая сестра младшую, сбила наземь, накрыла оленьей кожей, забросала землей пламя. Сбежались женщины, раздели Мэнгунари, обмыли. Бабушка-знахарка смазала ожоги барсучьим жиром и руками развела – будет жить или нет, одним духам известно. Иван в город помчался, русского врача привез, тоже без толку. Нет у врачей таких лекарств.

Ястреб-то сразу от невесты отступился. Как увидел ее, обожженную, без волос, без ресниц, так и сдал на попятную. Не успели, мол, огонь обойти, значит и свадьбы не было. Дальней дорогой обходил он теперь чум Смородинки, а потом и вовсе убрался из стойбища – нанялся проводником к русским, запропал в глушь. Туда ему и дорога.

Пролежала Мэнгунари долгую зиму, между жизнью и смертью висела. Мать за ней ходила, как за младенцем,

с пальца молоком выпаивала, стругья смазывала, на солнышко выносила. Зеркальце подальше в сундук спрятала от греха. И Юлтэк наказала отвлекать сестру, занимать разговорами. Та и старалась – пока сама замуж не выскочила. Не замахивалась больше на дивных птах, взяла простого парня себе вровень, села с ним на сани, съездила до попа Ивана и зажила душа в душу.

Как Мэнгунари по весне из чума показалась, дети с плачем от нее разбежались. Худа как смерть, бледна как луна, рубцами покрыта – глянешь и не поймешь сразу, человек или злой дух. Отворачивались люди, в лицо не глядели, за спиной шептались. Сама, мол, виновата, покарала девушку Бабушка Огонь за то, что горда была не по чину, да у сестры жениха увела. Теперь и Хозяин не возьмет ее замуж. Ай, пропали золотые кудри, пропала девичья краса!

День проходила Мэнгунари по становищу, второй проходила, а на третий исчезла как не бывало. Собрала мало-мало вещичек и в лес ушла, куда глаза глядят, подальше от своей вины. Думала найти балаган и поселиться на отшибе, а то и дикому зверю на зуб попасться. Себя-то жизни лишать дурно, а за зверье никто не в ответе. Мать всплакнула, но перечить дочке не стала. В становище Златовласке теперь только маяться, пока на помост не снесут.

Как назло, дни стояли ясные да теплые – не замерзнешь, не потонешь в грязи. Баловала тайга Мэнгунари, то орехов прошлогодних из бурундучьей кладовой

подбросит, то папоротниковых проростков, то птичье гнездо со свежими яйцами, то лужу с рыбешкой. Ночевала девушка то под елью разлапистой, то в щели каменной, то в землянке охотничьей. Думы горькие уже не думала – опротивело за зиму. Жить с нелюбимым несладко, признаваться, что со зла сестре безвинной жизнь поломать решила – и того горче. Не по-людски поступила... а как по-людски – отродясь не знала.

А сказки стучались в усталое сердце да сочинялись сами. Как лосиный хан на оленьего хана войной пошел, а каменная свинья разняла задир. Как поймали нойоны белого царя матушку луну, потащили во дворец, а бурундук с землеройкой ее вызволили. Почему у рябины ягоды только после первого заморозка наливаются сладостью. Для чего журавли по болотам танцуют, и кто их плясать учил.

Словно в детстве снились Мэнгунари цветные сны, слушала она птичьи разговоры, песни ручьев да шепот камней. Звери ее не боялись, лисята к ногам ластились, оленята подставляли лобастые головенки, каменная свинья внучат вывела, да хрюкнула сторожку – мол не считай, чтоб не сглазить моих поросят. Гордый ворон садился на плечо и перебирал клювом волосы, смешливые синички приносили спелые ягоды, и лишь ястребы облетали мимо. Но пуще всего манило девушку звездное небо – как там наверху тропки плетутся, как по ним духи скачут, где на краю заката прячется пещера верхнего мира.

Танцевала Мэнгунари подле костров бесстрашно, в ладони вместо бубна стучала, дорогу выпрашивала. Учиться ей не у кого было. И все же – словно нашептывали ей слова мудрые, словно подсказывали, куда кланяться, кого звать. Все сильнее становилось обожженное тело, все ловчей двигались ноги, все острее глядели глаза, видя видимое и неведомое. Раскрывались секреты запахов – где багульник распустился, где шиповник расцвел, где капризница кабарга пробежала, где хитрый хорь.

Забывала девушка, как жила в чуме с матерью и отцом, сном казалась ей прежняя жизнь. Настоящим был мягкий лесной мох, тягучая смола лиственницы, небесный лось с развесистыми рогами и охотник, что гнался за ним от края до края. Настоящими были пчелы и сладкий мед, барабанная дробь дятла, ликующая волчья песнь и свирепый рык дерущихся медведей. Все реже хотелось зажигать костер, все тесней становилось телу изношенное платье...

Утром первого дня осени вместо девушки под кедровую кровлей проснулась белая росомаха.

Сказ о тропе шамана

Когда ребенок рождается, приходят в чум старики и кладут перед ним разные инструменты. Наконечник стрелы, рыболовный крючок, острый нож, веселый варган. К чему потянется младенец, тем и вырастет – охотником, мастером, рыбаком... Мать с отцом назвали седьмого сына Нюргун-стрелок, за то, что он выбрал тетиву лука. А он решил стать пастухом.

Едва встав на ножки, мальчонка неотступно ходил за оленями. Сосал молоко у важенок, играл с оленятами, цеплялся за шерсть рогатых быков, слушал, как они хэкают и ворчат друг на дружку. Учился ездить верхом и погонять сани хореем, выискивать луговины с сочной травой и пустоши с пышным ягелем, выбирать из оленьей шерсти кровососов и смазывать ее болотной жижей.

Нюргун без страха смотрел, как оленухи рожают лобастых смешных телят, и помогал малышам подняться на ноги. Уговаривал молодых самцов потерпеть, когда по весне им срезали покрытые бархатистой шкуркой рога. Хлопотал, попевал, слушал старших и не плакал, если поранится. Пастухи только дивились на смышленного мальчонку да нахваливали его. Умницы-лайки ластились к Нюргуну, провожали его до чума и слушались беспрекословно. И олени слушались – стоило маленькому пастуху пошептать что-то на ухо, как зверь подчинялся.

Десятой весной жизни Нюргун вдруг заболел. Мальчонку была жестокая лихорадка, он стонал, задыхался и отказывался от еды. Словно почуяв беду, вокруг чума собрались звери. Важенки подталкивали мордами мать – мол, дай сыну нашего молока. Хитрые псы то и дело пробирались вовнутрь греть больного своим телом. Но ни молоко, ни целебный дым, ни оленье панты не помогали. Нюргун то лежал пластом, то бился в судорогах, выкрикивая непонятные слова, то выскакивал на улицу голышом и катался по позднему снегу, словно искал спасения от жара. Отец собрался за шаманом – камлать надо, духов на помощь звать. И увидел шамана, едва отодвинул полог.

...Бурый Заяц не считал себя прозорливым или могучим. Мать его слышала духов, была в бубен у зимних костров и родила сына от безвестного гостя – шаманы не женятся, шаманки не идут замуж. Дед резал сильные амулеты из великаньей кости и моржового зуба. Прадеда знала вся тайга от большой реки до большой воды – знатный шаман был, будущее видел, больных лечил, со злыми духами насмерть бился. А Заяц досталась малая толика силы. Он брал вниманием, смотрел, что человек говорит и делает, чуял, чем дышит и о чем тревожится. Получалось так ловко, что люди лишь языками цокали «шаман, однако!». И снова звали камлать, спрашивали, придут ли стада, родятся ли сыновья, уйдут ли несолоно хлебавши жадные нойоны.

Хозяева рек и гор являлись редко и знаками не разбрасывались. Поэтому когда пестрая лайка пришла к землянке и с ворчанием потянула шамана за собой, тот послушался сразу. И причину недуга мальчика назвал тотчас как увидел. Духи пришли танцевать с вашим Нюргунном. Или шаманом станет или умрет. Готовьте дары, камлать буду. Если выживет – заберу с собой, учить стану. И не плачь, мать, слезы духам слаще крови.

Прутья священной рябины и веточки можжевельника полетели в очаг, следом за пахучей смолой и медвежьим салом. Дым повалил клубами, люди выбежали из чума, оставив больного наедине с шаманом. Столпившись подле полога, слушали, как бухает и рокошет бубен, плачущим голосом выпевает шаман призывы, как мечутся внутри тени и кричит мальчик. До глубокой ночи плясало пламя. Наконец полог качнулся, измотанный шаман упал на мокрую землю и с трудом поднялся, цепляясь за посох.

- Будет жить! Великая сила дана вашему сыну.

...Уходить в отшибную землянку Нюргун отказался наотрез. Устав уговаривать, отец оттащил упрямого мальчика за руку – обещано, значит обратного хода нет. Угрюмый Заяц встретил ученика неласково и утешать не стал. Через день Нюргун сбежал назад. И через неделю сбежал. За третий побег отец в сердцах поколотил сына и снялся с семьей на дальние кочевья. А без родни человек долго не проживет. После четвертого побега

Нюргун сам вернулся к суровому наставнику и больше уже с судьбой не спорил.

Первый год Заяц мальчика почитай ничему не учил. И работать не заставлял особо. За годы одинокой жизни шаман привык хозяйствовать сам, бабьего духа не заводил, детей не имел и даже прислужников не держал. Воды натаскать, хвороста набрать, котлы помыть – и все хлопоты. За другим шаман следил – чтобы Нюргун неотлучно сидел рядом, когда камлать приходилось, духов кормить или амулеты резать. Пусть смотрит, думает, запоминает, а придет время, сам спросит.

Заяц видел – Нюргун приглядывается, перебирает костяные фигурки, пробует по-разному класть в огонь ветки. Сила дырочку найдет, от себя в тайгу не убежишь. Десять духов тогда прилетели за мальчишкой из нижнего мира, испытывали мощь будущего шамана. Когда он, Заяц, ушел искать своего зверя, следом гнались лишь три костяных песка.

На исходе зимы к шаману явилась пожилая вдова с горькими жалобами. Покойный муж ее, добрый охотник, ходил с нойонами белого царя до самого моря, добывал великанью кость из ледяных глыб и оставил жене горшок с серебряными монетами, перед смертью наказав тратить бережно. Она и послушалась – зарыла наследство под очагом в чуме, доставала по монете, детей подняла, дочерей замуж выдала, а все не пустел горшок. А надысь кончились в доме чай да табак, вышла

мука. Раскопала вдова очаг – горшок есть, а внутри одна зола. Как теперь жить?

Заяц-то вдову утешил, табачка ей отсыпал, оленины добрый кус дал на сиротство. И ждать велел – завтра, мол, приеду в становище, найду вора. Смотри только, старая, плачь громче, да о шамане ни слова!

Убралась вдова, усадил шаман ученика подле огня и спросил:

- Как вора сыскать, малец?

- Камлать будем, - сказал Нюргун и потянулся за бубном.

- Нет, малец.

- Гадать будем? В тайгу за рябиновыми прутьями бечь?

- Головой думать будем! На духов надейся, а сам не плошай, малец! Кто мог знать, что у старухи серебро есть?

- Злые духи? Бабушка Огонь? Под очагом ведь горшок зарыли.

Заяц щелкнул мальчика по лбу.

- Кто угодно. Вдова ж серебром расплачивалась, небось и купцам посветила монетами и охотникам и соседям. А украл кто?

- Нуу...

- Бубен гну! Чужой человек бы чум пожег, а то и старуху зарезал со всей родней. Соседи бы искать стали, вещи ворошить, посуду переворачивать. Понимаешь, малец? Ладно, ходи со мной, да смотри в оба.

В становище Бурый Заяц явился разряженным как на свадьбу - бахромчатый красный кафтан из ровдуги, крашенной ягодным соком, высокая шапка с перьями, расшитые торбаса. К черным косам шаман прикрепил амулеты и побрякивал ими при каждом шаге. Недовольного Нюргуна разодел в волчью шубу и такую же шапку с костяными фигурками вдоль лица. В руки ученику дал трещотки – знай махай. И отправил обходить чумы, созывать народ.

Ослушаться шамана не рискнул ни один хозяин, к чуму ограбленной вдовы явились все от стариков до подростков. В яростном танце Заяц закружился, петлей обходя людей, потом упал наземь и затрясся, с губ потекла пена. Нюргун стал рядом «переводя», что говорит шаман:

- Пусть каждый по очереди войдет в чум и сунет руку в горшок. Там голодный дух спрятан – безвинного человека не тронет, а вора укусит за руку. Ясно?

- Ясно, ясно... - неохотно отозвались люди. Кому охота голодному духу в пасть палец совать? А ну как другой грешок учует и всю руку оттяпает.

Мерно застучал бубен. Под строгим взглядом шамана Нюргун по очереди подводил к чуму мужчин и женщин. Кто-то робел, кто-то делал каменное лицо, но ни вопля ни стоны изнутри не раздавалось. Наконец очередь дошла до сутулого колченогого мужичонки – тот попробовал увернуться от своей очереди, задрожал, захныкал и повалился на колени перед шаманом:

- Я! Я украл серебро, прости и помилуй грозный шаман!

- И зачем ты ограбил вдову, бесстыдник? Откуда знал, где она хранит сокровище?

Мужичонка замялся, шаман, свирепо прищурясь, уставился на него.

- Навещал я вдову после смерти мужа. Подсобить там, по хозяйству помочь, утешить беспомощную старую женщину...

- Это я-то старая? – вдова резво подскочила к мужичонке.

– Это я-то беспомощная? Куда серебро дел, злыдень?

- За невесту отдал. Девушку хорошую у соседей приглядел, остепениться собрался!

- Врешь! – рявкнул шаман и придержал разъяренную вдову. – Правду говори, не то дух тебя живьем сожрет с потрохами.

- Вру, - покорно согласился мужичонка. – Дело хотел устроить с купцом Иваном, водку возить из города. А

чтоб товар закупить мало-мало таньга надо. Под сосной у ручья зарыл монеты, забирайте все до гроша!

Под присмотром соседей, мужичонка сходил к воде и вернулся с туеском, полным серебра. Невозмутимый шаман взял монету за труд, наказал прислать молока да мяса, и отправился восвояси. Как судить будут, сколько шкур с любовника вдова снимет, пусть люди сами решают.

Больше Нюргун не бегал от дела. Стал учиться различать травы – когда брать, как сушить, как дымить или парить, в жиру томить или в порошок молоть. Варил целебный суп из семи сортов мяса, делал мазь на медвеьем сале и повязки из ягеля. Разводил огонь – тертый, выбитый, на березовых ветках и заговоренных поленьях. Разжигать щепу внутренним пламенем тоже выучился, да так споро, что Заяц лишь головой качал. Силища!

Однажды по осени шаман с шаманенком позвали соседей да отправились на охоту. Добыли лося, мясо людям отдали, а шкуру да жилы Заяц с собой забрал. До мозолей Нюргун руки стер, однако сам вымездрил кожу, волос свел, вырезал лоскут да растянул на колоде. Бубен творить – хлопот не оберешься. А делать надо, самому безо всякой помощи, только так душа приживется.

Подсохла кожа, пришла пора надевать на обод. Послал Заяц Нюргуна в тайгу – броди, мол, зови, проси духов лиственниц да рябин. Какое дерево отзовется на зов, то и даст прутья для обечайки. Угостишь ствол молоком,

возьмешь ветки, скрутишь, высушишь, духа-онгона из жил свяжешь, кожу натянешь и готово. Камлать будем, покажу тебе как на верхнее небо ходить, в нижний мир спускаться и живым возвращаться назад. Потом тотемный зверь к тебе явится, укажет тропу, позовет в путь. Как окончится тропа, выведет назад к костру – все, шаман отныне.

Нюргун-то расслаживаться не стал. Подрос он, пока у Зайца жил, в плечах раздался – не малец уже, парнишка. Сладится, так через пару зим настанет пора свою землянку рыть, да очаг разжигать. Кому неохота? Оделся в новый кафтан шаманенок, заплел волосы, обереги снял, чтобы духов не морочить, да и отправился, куда глаза глядят.

По тайге ходить – в оба глаза смотреть, в оба уха слышать, это все знают. Но шаманская тропа иная. Ступаешь по земле, трогаешь деревья, пробуешь воду, да знаки ищешь. Куда сердце позовет, куда птичий посвист поманит или там волчий вой, туда и надо идти. Ни листочка, ни хвоинки с ветки без умысла не упадет, даже сойка случайно на голову не капнет. Загадка за загадкой плетется, разгадать их лишь духи могут, да тот, кому путь подсказывают. А следы разобрать плевое дело, любой охотник сумеет.

День Нюргун по лесу бродил, по темноте заночевал в буреломе, как солнце выглянуло дальше тронулся. Не ест, не пьет шаманенок, один мокрый снег сосет. А духов между тем кормит – кому сала, кому рыбы, кому молока

или табака. Лишь бы откликнулись, указали нужное дерево, дали гибкую ветку. Ан нет, молчат хозяева леса, словно воды в рот набрали. Ни совиного уханья, ни мышьиной возни, ни кабаньего хрюканья не слышать, ни тропинки под ноги не ложится. Только ветки под ветром вздрагивают да солнце к закату клонится – второй день на исходе. Что поделаешь?

Знал Нюргун, что нельзя самому духов звать, но уж больно утомился петлять без толку. Судьба на то и судьба, сама не идет, манить надо. Развел костер на берегу ручья. Хвороста наломал, сосновой смолы подбавил, бересты на растопку надергал, ладонями оживил пламя. Взял варган – и давай камлать. Укажите тропу, хозяева воды! Выведите на путь, хозяева земли! Подайте знак, отцы звериных родов! Освети дорогу, Бабушка Огонь!

Полыхнуло кипучее пламя, лизнуло лицо шаманенку, опалило черные косы. Плеснул Нюргун молоком на хворост, да не как надо – со зла плеснул. Дым повалил клубами. И духи пришли. Черный медведь проковылял мимо, лапищей погрозил. Мертвый лось пробежал, шкуру за собой поволок. Зубастые зайцы запрыгали – так и скалятся, так и скалятся! Белая Росомаха прискакала, кувырнулась через костер, да обернулась девушкой с волосами цвета солнца. Никогда Нюргун таких волос не видывал. Потянулся рукой погладить, девушка в смех. Закружила шаманенка в танце повела в облака, высоко-высоко.

Пляшет Нюргун над облаками, хохочет звонко, а вокруг олени один другого краше. Стали на задние ноги и коленца выделывают, словно охотники в Сингилгэн. Оленухи протвосолонь ходят, мычат хором. Молоко по небу разлилось, под ноги течет, и во рту от молока сладко. И красавица улыбается, вьюном вертится, платье на ней колышется синим цветком, золотые волосы стелются за облаками следом. Вот уже ничего, кроме сияния не видать. Счастье!

...Заяц-то уже давно недоброе почуял – в землянке то дым по полу стлаться начнет, то горшок с полки упадет да расколется, то талая вода сквозь крышу просочится. Однако ждал – не дело мешать шаману тропу искать. Лишь когда с сохлой лосиной шкуры кровь закапала, поднялся искать Нюргуна.

Костер развел, трубочку покурил, щепоть табака на угли бросил, да стал в бубен настукивать – скажите, духи, куда мой ученик запропал? Нет ответа, молчат духи. Даже Бабушка Огонь не подает знака. Что ж, не колотушкой единой шаман живет. Достал Заяц костяную иголку, что его дед для матери резал, кольнул острием палец, и положил на ладонь – покажи, мол, где шаманенок прячется? Крутнулась игла, да и повела шамана в чащобу.

В лесу и правда тишь глухоманная, ни зверь, ни птица навстречу нейдет. Ветра нет, а ветки у лиственниц колыхаются. Вроде вечер, а не темнеет – золотое сияние по небу разлилось. Муторно на сердце, беспокойно,

тревожно. Чудится шаману, будто далеко-далеко мчатся всадники, саблями машут, из луков стреляют, валом идут, словно лесной пожар. Плачут женщины, из последних сил бьются мужчины, надрывается шаман, зовет предков на помощь. И стрела каленая – вжух в сердце! Вздрогнул Заяц, отогнал морок, грудь потер, унимая боль. Чего только ни привидится на исходе зимы!

Вышел он на берег ручья, иголка на ладони аж задрожала. Глядь – а вон и Нюргун на мокрой земле лежит. Костер-то давно потух, варган рядом валяется, сало да рыбу бурундуки растащили. Другой бы замерз до смерти, а парнишка-то теплый, улыбается, ногами дрыгает, словно приплясывает. Позвал его Заяц, потряс, по щеке шлепнул – не отзывается. Далеко душа бродит.

Вот беда так беда! Бубна нет и помощника нет, а уйдешь один в верхний мир, заплутаешь и не вернешься. Но не бросать же парня. Снял Заяц обереги с кос, кровью мазнул, да на ветку повесил – стуколка будет, по ней выйду. Затем хворосту нагреб, костер разжег и запрыгал вокруг, в ладоши хлопая. Ай, гроза над лесом, ай, гроза над миром, ай, несите меня высоко, серые тучи! И понесло-закружило шамана, выше сосен, выше гор, выше облаков, туда где небо твердью становится. Вот и верхний мир!

Услыхал шаман звонкий смех, топот копыт оленьих, и поспешил на звук. Увидал, как пляшет Нюргун, как кружат важеньки, как скачут рогатые быки. И огненную красавицу увидал. Снова сердце кольнуло, сладкой

болью охватило Зайца. Словно вспомнил он, как бегут по тропе легкие ножки, как звенит в роще серебряный голосок, как ждет у огня лучшая в мире девушка. Улыбнись ему сейчас Златовласка, все бы отдал за ее улыбку... Кроме ученика.

- Хурррр! Хурррр! – закричал шаман на оленей, да пошел их расталкивать в разные стороны. Красавице веселой кулаком погрозил, зарычал по-медвежьи. Та спиной вперед перекинулась, на четыре росомашьи лапы встала да как рывкнет! А шаман зайцем оборотился – и поскакал. С облака на облако, с облака на облако петли закладывал. Росомаха за ним, да тучи не сугробы, не догнать ей косога – так и отстала. Вернулся шаман за Нюргун, подхватил паренька, зажмурился, прислушался – и услышал, как далеко-далеко на сосне береги друг о дружку постукивают. Шаг за шагом на звук-то и вышли, спустились в лес. Руки целы, ноги целы, только сил никаких нет. Да у шаманенка в кулаке золотой волос зажат, до того яркий, что в ночи от него светлеет.

Даже шаману такое путешествие тяжело далось. А Нюргун долго пластом лежал, криком кричал, отмахивался, словно его огонь жжет. Хвала духам, пришли оленухи, дали сладкого молока, отпоили. Как окреп парнишка, позвал Зайца, положил наземь волчью шапку, скинул волчью шубу, да поклонился. Спасибо, мол, за науку, но камлать я никогда больше не стану. Отпусти меня, мудрый шаман, в оленные пастухи!

Побранился Заяц, посохом погрозил, а отпустил. Мало силы, чтобы шаманом стать, и разума мало. Нужно, чтобы душа с дымом выходила и с пеплом на землю падала, чтобы тропа под ноги ложилась и звезды дорогу указывали. Пусть идет!

Вернулся Нюргун в родное становище, к отцу с матерью. Начал с олешками кочевать, стада оберегать от волка, медведя, да лихого человека. Шамановы уроки впрок пошли – и звать оленей пастух теперь умел, и гнус отвадить и хорошее пастбище отыскать и погоду предсказать, от бурана вовремя спрятаться. Долго ли коротко ли, олешек у него не счесть сделалось. Женился правда рано, а за первой женой и вторую и третью взял, чтобы у каждого стада по хозяйке сидело. Ну так сколько жен муж без обиды прокормить может, столько и ладно.

Остался шаман один и загрустил. Ни сна ни покоя себе не находит. Закроет глаза – видит огненную красавицу, откроет – золотой волос в землянке почище светильника сияет. Не дело шаману жену брать, не дело бабью юбку превыше духов и путей ставить, все знают. Однако тоска на сердце гнездо свила, хоть кури, хоть не кури, хоть в тайге по весне дури. Год протосковал Заяц, а как снова журавлиные голоса разнослись над соснами, собрал вещички, сложил на нарты и ушел, куда тропа ведет.

...А куда она его привела, в следующий раз узнаете.

Та, что приходит ночью

Люди знают – злые духи насылают большие беды. Прищурит страшный Харги правый глаз – нападут на сосны волосатые гусеницы, убьют лес за год. Прищурит Харги левый глаз – прольются дожди, загниет мох, отощуют олешки. Оба глаза прищурит – спрячутся облака за вершины гор, сушь придет, мошка из болот поднимется. Следом крылатый Агды танцевать начнет – лес загорится, пал пойдет по земле. Ой голод будет, ой беда!

Но всего хуже, когда от стойбища к стойбищу начнет кочевать Та, что приходит ночью. Явится в стойбище испянает кожу алыми язвами, иссушит тело жаром, измучит дрожью, а потом и жизнь заберет. Не уйти от нее, не спрятаться в чащобах, не отогнать дымом костров и меткими стрелами. Только сидеть по чумам да скулить от страха, нос на улицу не казать, даже если мать родная криком кричит. Или сладкого мяса предложить Той, самого сладкого, что есть в стойбище...

Сильный род Тукалакын давно расселился на берегу речки Токко подле Медвежьей горы. Грозные хозяева тайги бродили в низовьях, толстопятые хозяйки выпасали медвежат на черничниках и рыбных озерах. Оттого-то в верховья никто не ходил – страшно. Ни Иван за ясаком не сунется, ни китаец за корешками не явится, ни жадный бурят не придет воровать детей и молодых девушек. Вольготно жилось людям.

Ягод в верховьях росло немеряно – рукой проведешь по кочке, горсть в рот сыплешь. Грибов по осени высыпало столько, что присесть по нужде негде. Олешки плодились знатно, и мошка их не трогала. Пушной зверь сам в силки шел, из соболей одеяла шили, рысьим мехом торбаса отделывали. В горных осыпях руда медная валом лежала, в ручейках кое-где и золотишко посверкивало.

По зиме надевали молодые охотники теплые шубы, складывали на нарты меха, надевали под парки тукалакын – амулеты с медвежьим сердцем - да и ехали в Красный город, Кызыл Тура. Привозили оттуда табак, соль, муку, красные одеяла и всяческие диковины. А Делэки-горностай, самый удачливый из охотников, выменял для невесты чудную игрушку. Повернешь у коробочки ключик, поднимешь крышку, а там китаянка-танцовщица кланяется туда-сюда и колокольчики нежно позвякивают. С нее-то беды и начались.

Стала невеста Горностая женой, вскоре после свадьбы и живот у нее расти начал. Пока носила ребенка – не расставалась с игрушкой, все слушала звонкие колокольцы. Да и родила на месяц раньше срока хиленького мальчонку, а сама в верхний мир той же ночью ушла. Поглядел Горностай на сына, поморщился, а делать-то нечего. Назвал младенца Мэгдавул-торопыжка и отдал жениной родне – пусть растят. А проклятую коробчонку в озере утопил.

Люди думали, не доживет мальчонка до весны. Потом гадали – дотянет ли до осени. А он все лежал, в потолок

смотрел, ни туда ни сюда не клонился. И гусиным жиром его бабка мазала, и в оленьем молоке купала и на солнце выносила – не помогало. Наконец попросила сына принести в чум медвежонка, да чтоб маленький был, сеголетка. Уколола старуха зверю лапу и мальчонке палец иглой проткнула – да и смешала кровь, обновила завет.

С того дня вживь Мэгдавула развернуло. Садиться мальчонка начал, по чуму ползать, а там и вставать, цепляясь за шерсть мохнатого братца. Две зимы они прожили неразлучно, из одной миски ели, из одной реки пили. Потом хозяин по весне вернулся к своим в низовья. Мэгдавул же к вящей радости бабки заговорил. ...Лучше бы он молчал.

Все-то ему интересно было – куда ветер дует, зачем сосны растут, отчего снег идет и отчего он тает. Бабку замучил – почему глиняный горшок так звенит, а чугунок этак, почему соловей весной поет, а из рыбы слова не вытянешь, где край света и доедешь ли туда на олене? Дядьев извел – то дудочку ему вырежи, то свистульку слепи, то бубен натяни – и чтобы стучал гулко. На бубне бабка сломалась и повела внука к шаману – может дар у мальчонки наружу просится? Куда там – месяца не прошло, как назад вернули сокровище. И шкурки лисьи, что семья отдала за учебу, шаман себе не оставил. Дурачок, мол, ваш Мэгдавул, ветер у него в голове, птицы в ушах, колокольчик на сердце. Чему ни учи его – толку не выйдет.

Шаман, однако, прав оказался. Чему мальчишку ни учили – как с гуся вода все скатывалось. Лук натягивал – стрелы в тучи летели. Рыбу ловить бегал – возвращался без единой рыбешки. Зверей из силков выпускал, птиц распутывал. Олени, правда, ходили за Мэгдавулом, словно дети за мамкой, пока он играл на дудочке. Но как ляжет паренек на траву, как замечается, в небо глядячи – только рогатых и видели.

Так-то парнишка здоровеньким рос, щуплый, но жилистый уродился. Бегал быстрее всех в стойбище, плавал как рыба, танцевал, словно духи в него вселились. На варгане играл, на конковуре-бревне палочками настукивал, морин хуур у купца выменял и на нем пиликал, на русской балалайке бренчал да так ловко, что ноги сами в пляс пускались. А вечерами сказки сказывал у костра, про зверей и птиц, что в тайге живут. Поумнеть правда не поумнел, но за незлобивый нрав многое прощалось.

Годы шли, молодые росли, старики старели. Замечать стала бабка, что девицы вокруг ее внука вьются – то одна приклонится, то другая круги натаптывает, то третья выплясывает у костра. А Мэгдавулу что – всем улыбается, всех обнимает. За девицами вдовушки потянулись на чужой огонек – всякой охота погреться холодной ночью. А следом и чужие жены стали пригожему пареньку вслед поглядывать. Неладно дело! Так-то орочны и свою бабу гостю предложат и пузатую девку замуж возьмут. Но по обычаю все, по совести, без баловства.

Повздыхала бабка, поохала, и отправила внука в горы за медью, чтобы мужикам в стойбище глаза не мозолил. А затем приказала ему в город ехать с молодыми охотниками – вырос уже, пора на людей посмотреть да себя показать, чего стоишь. Справила ему шубу, торбаса новые подарила, пояс узорчатый, оберег с медвежьим сердцем на шею повесила. Дядья полны нарты мехов накидали, да наказали: продавать дорого, покупать дешево, с Иванами не пить и от парней не отставать.

Трое их в город собралось-то. Силач Микчан, самый мощный из охотников стойбища. Ловкач Берелту, лучший лучник, белку в глаз уложить мог. И задумчивый Мэдудин – шаманенок, ученик старого шамана. Не обидишь, не обсчитаешь таких парней! Не очень-то они обрадовались, узнав, что бестолкового Мэгдавула с собой брать придется, но со стариками не поспоришь. Присели на дорожку вокруг костра, старый шаман огонь покормил, молоком пламя залил – и в путь, через речной лед, через густой лес.

Едут охотники по чистому снегу, оленей хорями подгоняют, за ветром следят. Неугомонный Мэгдавул напевает про лесного хозяина и сладкую ягодку, парни подтягивают, кто как умеет. Дорога долгая, отчего бы не поразвлечься? Медведи спят по берлогам, волки близко не подойдут, заблудиться подле реки не заблудишься.

День да ночь да еще день – стойбище Токко, приречного лосиного рода. Люди там лосей по берегам реки бьют, мясо едят, а шкуры на соль меняют. Еще день да ночь да

полдня – становище Горкит, птичье озеро. Чумы там круглый год стоят, а в них мастерицы сидят, накидки из перьев делают. Наденет такую невеста – краше солнышка станет. А еще два дня и две ночи проедешь – и Красный город на берегу увидишь. Торговля в городе богата, вино сладко, девки покладисты – только плати, дорогой гость.

День прошел в хвастовстве и побасенках, ночь-лисица черным хвостом прикрыла глаза парням, поутру подморозило, нарты птицами полетели. Вот и Токко... Один чум стоит посреди белой пустоши, ни дымка не видать, ни человека, ни псины сварливой. Затревожился Мэдудуин, воздух понюхал, словно собака, вокруг чума оббежал, на нарты назад присел – лицо белое, глаза черные. Недобрые, мол, здесь дела деются. Заглянул Микчан под полог – и застыл, зуб на зуб не попадает. Полон чум дорогих даров – и моржовый клык и медвежий мех и колоды медовые и самородки золотые. А посреди чума девица к столбу привязана, мертвая как полено, мерзлые косы до полу свисают. Что за напасть?

Сунулся Мэдудуин под полог, да и вылетел наружу, словно Бабушка Огонь его по заду пришлепнула.

- Та, что приходит ночью, явится сюда на закате. Дары примет, сладкого мяса отведаст и дальше потащится своей дорогой, пощадит лосиный народ. Или не пощадит, если подношение не по вкусу придется.

- А нам-то что делать? - спросил Берелту. – Самоловы настрополить или стрелами огненными злого духа встретить?

- Бежать, - ответил шаманенок. – Ой, быстро бежать! Своими тропами поведу вас, глядишь и собьется с дороги смерть.

Прыгнули парни на нарты, закричали: хурр! Хурр! Один Берелту замешкался – глянулся ему перстенок медный с зеленым камушком. И не в чуме ведь лежит, поодаль на снегу брошен. Будет подарок для невесты, ясноглазой красавицы Аялик. Схватил охотник находку, сунул в кисет да следом за парнями погнал олешек. Ай, беги мой быстроногий с ветвистыми рогами, по тундре, занесенной пушистыми снегами!

До темноты мчались нарты, словно страшный Харги за ними гонится. Село солнце, дал шаманенок оленям роздых, позволил парням подкрепиться да прикорнуть на мехах. А как луна взошла – снова поднял, напрямик через лес, по целине. Летят нарты, словно крылья у них выросли, мчат олени, пену розовая летит с морд, шаманенок бубном трясет и вопит как безумный. Вот уже и Медвежья гора вдалеке горбится и селение на дальнем берегу речки стоит. Дымят чумы, лают собаки, перекрикиваются женщины, детишки на разные голоса пересмеиваются. Никто беды и близко не ждет.

Парней к стойбищу Мэдудуин не пустил и сам к людям не пошел. Велел над обрывом костер разводить

дымный, еловых веток накидать в пламя и ждать, пока старики придут. А ждать-то зябко, тревожно, ветер с востока тучи гонит, снегом колючим сыплет. Олени друг к дружке жмутся, исхудали, словно весной. Силач сало жует, дурак песни поет, стрелок шишки с веток сшибает ледышками. Шаманенок сидит как китайский идол и в бубен настукивает, духов злых отгоняет. Старого шамана приваживает – да не зря.

Явился грозный старик первым, в семь шкур укутан, семь кос по плечам позвякивают, большой бубен при нем для большого камлания да посох рогатый. Зыркнул шаман из-под косматых бровей на парней, понюхал еловый дым, сел рядом с учеником и давай переглядываться да перешептываться. Потом назад к стойбищу заспешил. Лицо белое, глаза черные, руки дрожат, еле посох удерживают. Беда пришла, всем бедам беда.

А шаманенок к парням повернулся. Лицо черное, глаза белые, от голоса птицы на лету падают:

- Кто злых духов обворовал, признавайтесь? Кто на чужое позарился? Кто дорогу к стойбищу указал, смерть на хвосте привел?

- Моя вина, - охнул Берелту. – Пожадничал, олух, перстенок для невесты на снегу подобрал. Думал, ничейный.

- Твоя вина, ты и расплатишься. От Той, что ночью приходит, откупаться придется. А краше твоей Аялик нет девушки в стойбище.

За голову схватился лучник – а поздно себя винить.

- Это что ж мы медвежье сердце, родную кровь злому духу своими руками скормим? - опешил Мэгдавул. – Может я и дурак, но такой глупости в голове тесно.

- Одна погибнет, все живы будут. Как палец гнилой режут, чтобы руку спасти, - прищурился шаман. – Не трогали бы чужого, ушли б от напасти, все бы живы остались.

- Тогда я сладким мясом стану, - пробасил силач. – Аялик дочь моего отца, не позволю девчонкой безвинной жизнь стойбища выкупать. Пусть меня злая старуха жрет – глядишь подавится.

- А я огнем ее встречу. Духа-то и порешить можно и пожечь можно и в нижний мир без рогов прогнать можно. Чем ночная убийца хуже медведя или матерого кабана? – крикнул Берелту. – Ничем. Мне без Аялик все равно не жить.

Поглядел шаманенок на парней, поглядел в огонь, поглядел на колючие звезды... Протянул ладони к теплу, умылся пламенем, закаменел лицом:

- Так тому и быть. Встретим на берегу Ту, что приходит ночью. Убьем ее или назад в нижний мир прогоним – все

живы будем и род спасем. Дадим слабину – перейдет злой дух через реку, заберет Аялик и богатства тукалакын заберет. Из медвежьих сердец станет род лосиными блохами. Живыми блохами, кто бы спорил. Но сладка ли такая жизнь?

Не обрадовался старый шаман помыслам молодого, но и перечить не стал – все судьбы на небе стежками облаков вышиты, кому не жить, кому жить, кому песок ворошить. Собрались на дальнем берегу родичи, матери парней прибежали плакать по ним, сестры головы снегом посыпают, косы рвут, бабка Мэгдавула кричит-убивается – любимый внук головой в пекло полез. Красавица Аялик, в белый песцовый мех разодетая, вышла на середину реки поглядеть на своих защитников. Станцевать бы ей, закружить лебедью над рекой, попросить Бабушку Огонь и ее внуков-духов спасти род, пообещать хозяину тайги стать медвежьей невестой. Да относит ветер грустную песню дудочки, гаснет в снегу звон варгана – играй не играй, не слышно...

До темноты трудились парни, таскали хворост, тянули полог, собирали большой костер. Берелту обмакивал в смолу стрелы, Микчан свинчатки положил в варежки, Мэдудуин травы пахучие разложил на оленьей коже, кровью сбрызнул бубен и заячью лапку. А Мэгдавул знать напевает да в ладоши прихлопывает – с песней, мол, и умереть не жалко.

Ночью зимы долгие, тихие – птицы спят, звери спят, лесные проказливые духи тоже спят. Редко-редко

шелохнется, сбрасывая снег, ветка ели, провояет в чащобе волк, просвистит ветер – и снова ни звука. Ждут парни, друг дружку в бока пихают, ветки в пламя подбрасывают, сказки друг другу рассказывают, чтоб не так страшно было. Сел Мэгдавул поближе к огню и начал:

- Пришла однажды в наши края зима долгая да голодная. Большой мор тогда среди зверья случился – ни пищу добыть, ни от холода спрятаться. Лишь медведям по берлогам повезло отлежаться. Да только отощали бедняги донельзя, повылезали на свет, а их ветром шатает от худобы.

Бродит по тайге старый хозяин, камни переворачивает, в мышиные норы попусту кожаный нос сует. Был он когда-то велик да грозен, целый край под лапой своей держал. А потом одряхлел, охромел, молодые медведи его с богатых угодий выгнали. Век хозяина на исходе, силы иссякли, ан не сдается, крепко когтями за жизнь держится. Бродит он, переваливается, рычит на пустые норы, шатается с голодухи.

И увидел хозяина маленький зверь бурундук. Он-то запасливый был, однако, много кладовых по лесу устроил. Сам пережил зиму, бурундучку свою спас, на соседей хватило и еще много осталось. Посмотрел бурундук на косолапого шатуна медведя, дрогнуло сердце от жалости. Выпрыгнул он на тропку, запищал: цвик-цвик! Да и поскакал в лес, вроде как испугался.

Рявкнул медведь и за едой погнался. Бежал-бежал бурундук, а потом цвик! И в норку. Хозяин не будь дурак начал землю когтями рыть – а там и орехи и зернышки и ягоды сушеные. Запасливый бурундук оказался!

Как запасы из первой кладовки медведь приел – ему-то на один зуб с голодухи – маленький зверь снова на пригорок вскочил – цвик! И ко второй кладовой повел, а там и к третьей и к четвертой. Старый хозяин на глазах сил набирается – вот уже и не шатает его, и не шаркает лапами и от рыка лесные жители порскают кто куда. Не пожадничал бурундук, повел медведя и к пятой кладовке-то. Да споткнулся о малую веточку – и хватанул его старый хозяин тяжелой лапой.

Пять полосок на желтой спине остались, знак медвежьей благодарности. Хорошо маленький зверь шустрый был – вывернулся, ускакал в чащу. С тех пор все бурундуки полосатые. И все по осени кладовки в лесу делают, больше чем съесть могут. Мало ли чей старик оголодает весной – будет ему подарок.

Закончилась сказка, а костер еле тлеет – заслушались парни, ни веточки в огонь не подбросили.

- Хорошо сказал, брат, - улыбнулся силач Микчан. – Доброе дело о стариках заботиться.

- Чистая правда, - поддакнул Берелту. – Сколько ни видывал бурундуков – все полосатые.

- Слишком добрый твой бурундук, - покривился шаманенок. – Полосатые жадничают, запасов делают, больше чем съесть могут. Головки у них крохотные, память короткая, вот и забывают, кто что попрятал.

- Славная сказка, - прохрипел незнакомый голос. – Поговори еще напоследок, смешной медвежонок.

Кинул шаман ветку в костер, поднялось пламя... вскочили в ужасе парни. Сидит на бревне злой дух в женском обличье. Глаза красные, лицо черное, волосы дыбом, с зубов слюна капает, снег до самой земли прожигает, язык наружу как у собаки. Шуба черная наизнанку надета – только нелюди одежду-то выворачивают. И хохочет-заливается – радостно сквернавцу, что добрых людей провел.

- Поди прочь с нашей земли! – рявкнул силач Микчан, прыгнул вперед – повалить да придушить нечисть или в костер бросить.

Повел злой дух плечиком, вытянул вперед когтистую лапу и покатился силач с обрыва прямо на лед.

Достал Берелту верный лук, вынул из тула горючие стрелы – раз! Раз! Не горят стрелы и летят мимо цели. А злой дух знай хохочет, сов пугает. И подначивает глупого человека – тебе бы в дохлого оленя стрелять, охотничек!

Осталась одна стрела, заветная, с наконечником из небесного железа. Еще дедушке лучника ее побратим-

бурят подарил. Прицелился Берелту в раззявленную пасть, натянул тетиву – и попал!

Прошла стрела неживую плоть словно воду, в сосну на краю поляны вонзилась. Топнул злой дух ножищей и стрелка снегом завалило по самую шею – не двинешься!

Вышел к костру Мэдудуин – словно сам дух Сэбеки в плаще из белых перьев. Грозен лик молодого шамана, тверда поступь, бубен стучит словно сердце медвежье в косматой груди бьется.

- Живое к живому, мертвое к мертвому. Не ждут тебя на чужой земле, не дадут тебе ни сладкого мяса, ни теплой крови. Уходи к себе в нижний мир, духов мучить, несытое чудище. Прочь!

- Не тебе меня гнать, сын женщины. Нет у вас надо мной власти, нет против меня силы сильной! – глумится дух, клыками щелкает, облизывается – вкусно мне будет вас, медвежьи сердца, жрать.

Пошел шаман вокруг костра, колотушкой размахивает, песню без слов поет. И злой дух следом – не поймешь то ли бежит от врага, то ли гонится. Снег валит, ветер воет, волки в лесах откликаются. Пламя костра то взовьется, то сникнет. Так столкнутся в осеннем лесу матерый кабан и молодой медведь – силы равны, кто кого соборет? Так идет синий лед на ледяную воду – сковать реку, остановить поток...

Вскинулось пламя к черному небу и враз потухло – лишь угольки светятся. Упал шаман на истоптанный снег словно подбитая птица, раскинул бессильные руки, выронил бубен. Захихикал злой дух тоненьким девичьим голоском, захрюкал дикой свиньей, затоптал – за обрывом река, за рекой в чумах много сладкого мяса страхом исходит, смерти дожидается. И здесь у костра лакомый кусочек сидит-ухмыляется, на дудочке наигрывает. Да так сладко, так жалостно – хочешь не хочешь, а подпоешь. Уселся злой дух на бревно и заскулил с переливами, вторя мелодии. Горе горькое у всякого есть, будь ты хоть человек, хоть зверь, хоть нежить зубастая. Умолкла дудочка, стихла песня, вдохнул воздуха Мэгдавул да завел новую сказку:

- Как снял шапку незадачливый ученик да вернулся к своим олешкам, так шаману тоска на душу легла. Окрутили мудреца золотые волосы, затмила ум бабья юбка. Бросил он чум, бросил род, бросил нажитое добро да отправился по миру счастья искать. Был шаман к тому времени крепко немолод, голову посеребрило, лицо измялось. Только сердце у него в груди билось как молодое – виделась ему огненная красавица за каждым поворотом тропы. И ведь знал он златовласку когда-то, любил горячо, жаркий ворохом приносил к порогу лишь бы увидеть ласковую улыбку. Но сколько ни силился, сколько ни стучал в бубен, сколько ни жег горькие травы, ничего о любимой вспомнить не мог. Одни лишь сны – да и те поутру исчезали бесследно.

Долго шаман по тайге бродил, и к конным родам наведывался и у бурятов чай с салом пил и у якутов олений желудок жевал – шаману-то везде рады. Потом прибился к нойону Ивану – вывел того с отрядом в метель к жилью и убедил злых эвенгов не ссориться с Белым царем, не убивать чужаков. Так и стал с солдатами по тайге кочевать – кого подлечит, кому рыбы наловит, кому ценную шкурку на табак обменяет. И с отрядом в русский городок Туруханск прибыл.

Удивлялся шаман городскому устройству, глазел по сторонам как мальчишка. Видано ли – из камня чумы строить, из меди колокола лить, голое тело горячей водой поливать да вениками хлестать? Почему одни люди других в цепи заковывают да голодом морят, почему мертвецов в землю зарывают, отчего без денег в кабаке и чаю горячего не нальют? Одно слово – чужаки.

Не обидел шамана нойон Иван, заплатил щедро, в гостинице поселил, наказал есть да пить да нового похода весеннего дожидаться. А шаману того и надо. Много в Туруханске русских баб да девиц, много золотых кос из-под платков виднеется. Глядишь здесь, в городе дожидается шамана его суженая?

Ходил-ходил шаман по улицам и выбрел к рыночной площади. А там чего только нет. Китаец свой чай выхваляет, тувинец котлы литые, купец Иван леденцы да медовые сласти. Охотники шкурки поплоче на веревку вывешивают, а что получше из-под полы продают. Зверолов верещит барсуком: подходите, мол, люди

добрые, на хищных зверей за малую мзду поглядите. Вот у нас, дамы и господа, дикая Палласова кошка, вот клыкастая кабарга, вот волчище свирепый носище. А вот научный феномен – росомаха-альбинос, белая как свадебное покрывало. Посмотрел шаман в клетку, протянул руку к замученному зверю – а с покаянной морды человечьи глаза глядят.

- Что же дальше случилось, маленький медвежонок? – спросил злой дух.

- Рассвет, - сказал Мэгдавул. – Та, что приходит ночью, белого света днем не видит.

И вправду – посерел воздух, попрятались звезды, брызнул по кронам сосен солнечный луч. Ахнул злой дух и исчез – нет ему больше власти над тукалакын, не сожрет он медвежье сердце.

Тут и старый шаман поспел и люди из деревни набежали и впереди всех дурачкова бабка блажит – не зря, мол, внука выхаживала, дурачества его терпела. Парни все живы остались, только силач Микчан заикаться стал, лучник Берелту лука в руки больше не брал, а молодой шаман до весны на ноги встать не мог. Однако обошлось. И прекрасная Аялик...

Недолго ее «сладким мясом» подружки дразнили, недолго виноватый жених оправдывался, зачем перстенок с земли поднял. Убежала красавица с дурачком Мэгдавулом, своей волей с ним у костра

окрутилась. И отправились они кочевать от стойбища к стойбищу. Со временем и нартами обзавелись и олешками и своим чумом и детишками мал мала меньше. И жили-радовались, наглядеться не могли друг на друга. Зря улыбались вдовы, глядя на пригожего музыканта, зря девицы подносили молоко с голубикой мудрому сказочнику – мужчина любит всех женщин, пока не встретит свою.

Вот только как прослышит Мэгдавул, что в края орочонов явилась Та, что приходит ночью, - бросает семью да гонит нарты туда, где злого духа видали. Если сам не знает, где искать – люди подскажут. Разведет Мэгдавул костер, дождется нечистую силу – и давай ей сказку рассказывать. Что случилось с шаманом, как старик отыскал любовь и при чем тут белая росомаха. И какой бы длинной ни была ночь – до рассвета не кончается сказка...

Сказ о разлученных навеки

За спиной у шамана остался злой город Туруханск с каменными чумами-клетками, шумными кабаками и недобрыми жадными людьми. За спиной остался нойон Иван – искать ему другого проводника для северного похода. И дурак зверолов, что польстился на морок, принял собачий мех за тигровую шкуру. Ужо очнется, кричать будет, солдат кликнет, а то и погоню вышлет – обманул, мол, дикий тунгус, ценную добычу украл. Ищисвищи, а ну под шумок и остальные узники разбегутся из клеток!

Трудно дышит на нартах белая россомаха, темной мутью подергиваются глаза, кровью сочатся раны. Нет для вольного зверя ничего хуже плена, нет ничего больнее насмешек, ядовитее глупости человеческой. Чудо что живой достать получилось. Ничего, родная, доберемся до нашей тайги, отлежишься в чуме и вернешься к себе в берлогу! Ловко машет Заяц хореєм, направляет пару оленей, насвистывает немудрящую песенку. Как же соскучился по родному краю, до чего ж утомило чужаком в чужой земле жить. До чего ж радостно чистый снег лицом ловить, слушать как полозья скрипят, олешки хэкают, ветер шумит... Да что ж он так расшумелся?

Глянул шаман на небо и увидел – тучи свет застыят. Мало-мало пурга идет, братца мороза с собой ведет, обещает – погуляем сейчас по лесу, потешимся вволю. Застынут ручьи и проруби, растрескаются стволы деревьев, навсегда уснут в дуплах глупые белки, не откроют глаза

шумные мышки в норах. Горе людям, что домой не успели добраться, беда зверям, не отыскавшим убежище. Ни крупинки тепла не останется, если братец с сестрицей пустились в пляс.

Что делать? Спасаться надо. Чай Заяц не первый день на свете живет, не первый год по земле ходит. Свернул с накатанной дороги, остановил нарты подле ближайшей корявой лиственницы, начал ветки к земле гнуть. Олешек распряг, чтобы сбрую на обвязку пустить – так опять беда приключилась. Почуяли глупые росомаший запах да как дали стрекача прямо в снежную замять, выкликай их теперь. Ништо! Отсидимся – позову их, али я не шаман?

А вокруг все темней делается, все свирепее задувает голодный ветер. На скорую руку наломал Заяц лапника, бросил в шалаш, залепил кое-как снегом стены, затащил внутрь неподвижную росомаху и вход ветвями загородил. Затеплил жирник – и светло и согреться можно и водицы накипают в жестяной кружке. Вокруг ветер гудит-ревет, внутри ни сквознячка. Только росомаха тяжело дышит.

Поглядел на зверя шаман, потрогал холодные лапы, сухой нос, почуял, как дрожь бьет отошало тело – худо выходит. Тает огонек жизни, вот-вот пеплом подернется. Шалишь! Не для того я тебя, росомаха, от дурного человека спасал, не для того бежал от сытого бытья, чтобы схоронить тебя в безвестном краю, в колючем снегу. Еще поскачешь у меня по сугробом, погонишься за

жирным подсвинком, покатаешься по ледяному склону вниз до реки.

Лег шаман рядышком с росомахой, обнял, погладил слипшуюся белую шерсть. Сердце в сердце биться должно, дыханье в дыхание литься – так своей живой кровью, горячей силой можно чужую душу удержать в теле. Потерпи немного, росомаха, затянутся твои раны, уймется боль. Весна придет в тайгу и в тундру заглянет, обсыплет землю цветами, закричат лебеди над озерами. Радость в ручьях заплещется... Ты живи!

Будь Заяц здоров и крепок, будь полон прежних сил, может и удержал бы две души на одной жиле. Да только и у шамана время-то на исходе, песок в ручей высыпался, иней на бороде осел. Все слабее бьется могучее сердце зверя, все реже дыхание подымает широкую грудь. Из последней могуты держит росомаху шаман, холодом пальцы вяжет, мороз к губам подбирается, жирник давно погас. Сон глаза сводит, разум молоком заливает. Вот уже не росомаха рядом с шаманом, а девушка молодая с жизнью прощается, разметала по мерзлым ветвям богатые косы. Та самая Мэнгунари-Златовласка, за которой шаман в каменный город подался. Хотел Заяц слово молвить – а губы-то уже не шевелятся, хотел к волосам прикоснуться – руки не подымаются. Улыбнулся шаман – встретились все-таки, радость моя. И глаза закрыл – спасибо, жизнь, что жил долго, спасибо, что ухожу легко...

Понесли шамана теплые волны сладкого молока к неведомым берегам, подхватили старое тело, омыли, огладили. Нет ни страха, ни горести, ни тоски, ни сожаления – честно шел по земле, совесть ко дну не тянет. Нет ни радости, ни веселья, ни слов ни мыслей. Только мерное колыхание и темнота вокруг.

Вереском пахнет, сладким вереском в жаркий день. И багульником, кисловатым и тяжким – надышишься, голова разболится, дурные сны придут ночью. И прострелом – нежной горечью ранней весны, девичьими слезами. Кап на лицо соленым! Кап! Кап!

Открыл глаза шаман и увидел – лежит он на теплом мху посреди тундры. Над головой небо синее, ясное, словно середина лета настала. Вокруг цветов видимо-невидимо. Бабочки порхают, птицы мелкие гомонят наперебой, олени пасутся поодаль – сытые, гладкие.

Сам он, Заяц, - жив-живехонек, здоров и крепок, полон упругой силы. Вроде он – а вроде бы и не он, словно в новый сосуд кислое молоко залили. То ли ростом повыше стал, то ли глаза зорче. То ли ни зернышка страха в душе не осталось – если уже умер, чего бояться?

А в глаза ему смотрит та девушка, которую он искал всю жизнь. Черные глаза россомахи, россыпь нежных волос цвета утреннего костра, звонкий смех, теплые руки, раскрытые навстречу любимому. Обнял шаман возлюбленную, остановилось для них время. Стали двое единым духом, чужли за двоих, слышали за двоих,

дышали одним дыханием. Пели для них степные птахи, стелились под ноги мягкие мхи, улыбалось нежаркое солнце – и двигалось вниз, к горизонту.

- Мэнгунари, моя Мэнгунари! Никогда больше не потеряю тебя, никогда не оставлю, - поклялся шаман, склоняясь над лицом девушки.

- Оставишь, любовь моя, - улыбнулась беззаботная Мэнгунари. – Солнце взойти не успеет, как мы расстанемся, покинем беспечальную страну Ярви.

- Почему? Чем я тебя обидел, что не так сделал? – опечалился шаман.

- Прокляты мы. От начала времен и до скончания дней прокляты. Слушай, любовь моя, почему нам не знать счастья.

Давным-давно люди селились в верхнем мире, вместе с добрыми духами и звериными душами. Как слепил их хозяин земли Сэвеки из белой глины попарно, как вдохнул в них горячее дыхание, так и зажили хорошо. Никто не болел, не старел, не замерзал в тундре, огненной водою не упивался. Жили по двое, как сейчас мужья с женами, не менялись, не делились, вторых жен не приваживали. Песни любимым пели, былички сказывали, волосы чесали кедровыми гребешками, да маслом смазывали. Наглядеться не могли друг на друга, послушаться не успевали, и с соседями подобру говорили – с чего злиться, когда у всех радость?

Зарежет муж оленя к вечеру или вытащит нерпу из проруби, мясо съедят, жена косточки сложит, глядь – поутру живой олешка в тундру скачет, живая нерпа хвостом к морю шлепает. Срубит жена березку для чума, приберет веточки поодаль, муж на них плюнет – глядь, новая береза растет. Добудет муж пестрых камушков из реки, чтобы жене красивые бусы сработать – поутру новые камушки под солнцем играют. Накопает жена цветной глины разрисовать торбаса – не убавляется глины в яме. Пойдет за брусничкой да морошкой, принесет в туеске сладких ягод – поутру свежие зреют на кочках. Всего хватало.

Что ни день в каждом стойбище пляски да песни, забавы да игры. Силами люди мерились, рукодельем похвалялись, разум на разум пускали, красоту красотой освещали. Делились, менялись, без жадности, без обмана. Знатными мастерами стали, добрыми охотниками, удачливыми рыбаками.

Одного не хватало людям – детей у них не рождалось. Ни единого младенчика в чумах не ползало, никто шкуры не пачкал, матерей по ночам не будил, отцов за волосы не дергал. Не для кого было игрушки из дерева резать, коробка-люльки плести, ножи да иглы из небесного железа ковать. Ветер собирал колыбельные, палой листвой заносило ничейные сказки. Исподволь просочилась печаль в счастливый мир, потускнели глаза у женщин, улыбки весенним снегом истаяли. То одна то другая задумается – стоит у околицы, чурочку нянчит, а

то песка подманит и возится с ним, как с ребенком. Глядя на жен и мужа погрузнели, руки опустили. Для себя одного и мяса добыть не в радость, и колечко из мягкого золота смастерить невмочь.

Жил среди мужчин Тамнар, легконогий танцор – как пройдет по болоту, ни кочка не колыхнется, ни мох не промнется. Больше всего на свете любил он свою жену неказистую Онердон-вышивальщицу. Вроде и мала и суха, разве что волосы золотом вьются. Но как глянешь на тысячу узоров, что рождаются под ее проворной иглой, сразу поймешь – чудо таится в душе у женщины.

Тосковала Онердон без детей, глаза исплакала. Тамнар, на нее глядячи, извелся, с лица спал. Думал-думал, чем помочь горю – не надумал. Шаманов тогда еще не появилось у людей, пришлось к мудрым зверям за советом идти. Отправился Тамнар в лес, позвал: Сатымар! Сатымар! И вышел к нему Большой Медведь.

- Беда у меня, Сатымар, плачет жена, хочет ребенка родить, а я не знаю, как ей помочь.

- Побей жену да работать заставь! – рявкнул Сатымар. – Дурь выбьешь, а баба пусть плачет оттого, что муж обидел.

Не понравился Тамнару такой ответ. Пошел он на берег океана, позвал: Малтар! Малтар! И подплыл к пляжу Большой Кит.

- Беда у меня, Малтар, плачет жена, хочет ребенка родить, а я не знаю, как ей помочь.

- Пожалей жену да приласкай от души, - фыркнул Кит. – Подарков ей привези, рыбы налови свежей, ракушек морских. Порадуется мужней заботе и плакать перестанет.

Не понравился Тамнару такой ответ. Пошел он в горы, залез на скалу, позвал: Кэре, Кэре! Захлопали могучие крылья, спустился с небес Ворон.

- Беда у меня, Кэре, плачет жена, хочет ребенка родить, а я не знаю, как ей помочь.

- Ай, беда! – сочувственно каркнул ворон. – Когда жена плачет, весь мир слезами исходит. Что за мужчина, если не может утешить ее?

- Потому и пришел к тебе за советом, мудрый Кэре. Где мне ребенка взять?

Прищурился хитро Кэре:

- Ступай к Синему озеру, где поставил свой чум великий Сэвеки. Спрячься, дождись пока великий дух покурит трубку да уйдет в тайгу на охоту. Обойди чум да погляди – растут в зеленом мху грибы невиданные. Ты красных не бери и белых не бери и бурых не трогай! Отыщи тыгдэду – гриб-дождевик, круглый как олений катышек, понюхай его, да смотри не чихни. И беги поскорее домой к жене – будет у вас ребеночек.

Поскреб в затылке Тамнар и решил попытать счастья. Быстрее оленя помчался он к Синему озеру, дождался, пока великий дух в тайгу уковыляет, птичьим скоком метнулся к грибной поляне, сунул нос к шарикю гриба тыгдэду – и стрелой домой понесся.

Целый день не смолкал шум в чуме веселого танцора и его жены, целую ночь сородичи головами качали – что удумали, словно молодожены. Наутро вышла за водой Онердон – а у нее живот поперек себя шире. Сутки прочь, вторые прочь, на третью ночь начала кричать женщина. Пока соседки сбежались – уже и младенец появился на свет. Назвали мальчика Энэси – богатырь. От звонкого детского плача у всех женщин молоко в груди прибыло. Кормили дитя по очереди, оттого и вырос сильней всех людей, за три дня славным воином стал. ...Если рождается вдруг в семье рослый и крепкий мальчишка, все знают – в предках у него первый силач на земле.

Поглядел Тамнар на могучего сына – и снова к Синему озеру сбегал. День не смолкал шум в чуме, ночь не спала жена, наутро вышла – а у нее живот на нос лезет. Сутки прочь, вторые прочь – появилась на свет девочка Бегандар – луноподобная. Ахнули женщины – не видели они еще такой красоты. Стали кормить дитя по очереди и выросла Бегандар сияющей словно все звезды разом. ...Если вдруг в семье появляется девочка красоты ненаглядной, все знают – праматерь у нее первая красавица на земле.

Все хорошо, одно плохо – стали мужа замечать, что не смотрят на них жены, а на Тамнара заглядываются, глаз с него не сводят. Каждой охота с пузом ходить, ребенка на руках нянчить. Как бы до беды не дошло. И решил Илкэсимо – подобный оленю-быку муж красавицы Утакан – надо, чтобы у всех дети были. Порасспрашивал он Тамнара, пообещал не выдавать тайны и отправился за грибом тыгдэду. Добрался до Синего озера, подождал, пока великий Сэвеки уйдет на охоту – и айда к грибной полянке. Натоптал, наломал, натаскал грязи, вырвал с корешком гриб тыгдэду – и помчался домой словно олень на свадьбу.

Прибежал в стойбище, созвал соседей, показал гриб тыгдэду, хлопнул по нему могучей лапищей – и как расчихается! Апчи да апчи! Вдохнули мужа воздух – апчи! И разбежались по своим чумам. До рассвета никто не спал, а поутру огласилось стойбище криками да плачем. В каждом чуме родились дети, где двое, а где и трое. Матерям заботы привалило – поди всех накорми да обиходи. Отцы днями на охоте прячутся подальше от писка да грязного мха. Только отлучили малышей от груди – снова животы округлились у женщин. Едва вторые детишки на ножки встали – третьи поспели. Женщины с ног сбиваются, плачут, помощи просят. Мужья ворчат – оленей с нерпами-то уже на всех не хватает. Случается, детишки косточки обгложут да разгрызут – и все, не родится новый зверь.

Решили люди помолиться Сэвеки, позвать на помощь хозяина земли. Не успели костер о семи дровах разложить посреди стойбища, не успели молока да масла на угли пролить, как явился великий дух по своей воле. Рогами трясет, ногами стучит, крыльями бьет словно глухарь подстреленный. Злой хуже Агды. Сел Сэвеки напрямик на костер и давай браниться:

- Ах вы, такие-сякие, глиняные-земляные! Зачем гриб сорвали, зачем ко мне ходили, зачем детей наплодили?

Вышел вперед Тамнар:

- Я виноват, великий дух! Поспешил к ворону Кэре, он подсказал, как детей добыть...

- Кто же ворона слушает? Ждал я, пока обвыкнутся люди, научатся в мире жить, по земле ногами ходить, на небо смотреть без страха, лишнего не брать и чужого не отымать. А вы взяли и размножились как лосиные блохи! Ужо смешаю вас назад в глину и новых людей вылеплю, лучше прежних.

Протянул руку Сэвеки, хотел Тамнара схватить, в глиняный комок смять. Да ухватил духа за подол кухлянки богатырь Энеси, назад на дрова пихнул:

- Не позволю отца с матерью обижать!

Встала со своего места ясноокая Бегандар, заговорила поперек взрослых:

- Скажи, мудрый Сэвеки, ты ли нас создал такими как есть?

- Я, красавица, - буркнул Сэвеки.

- Ты ли вложил в грудь мужчины любовь к женщине, а в сердце женщины – тягу к материнству?

- Я, красавица!

- Так за что же ты на нас гневаешься? Не злишься же ты на огонь, что он жжет, не яришься же на воду, что она течет под ноги. Нет на свете той силы, что остановит женщину, желающую стать матерью. Прости нас, великий Сэвеки, умерь свою ярость.

Поглядел хозяин земли на юную девушку, легконогую как отец и сияющую как снега на морозе, поманил ее к себе, шепнул на ухо. Разрумянилась Бегандар:

- Да, великий дух, я согласна стать твоей женой и в небесной лодке плавать согласна, чтобы мир освещать, если править ей будет мой могучий брат Энеси.

- Быть по сему! – топнул ногой Сэвеки. – Ради моей невесты не стану я губить вас. Но проклянута – кто расстанется нынче, не будет вместе вовеки. И в верхнем мире вам больше не жить!

Стукнул по снегу посохом сердитый Сэвеки, открылась яма в земле. И попадали туда все люди, все их дети, олешки, собаки, чумы и шкуры. Кто успел взяться за руки – и в среднем мире остались семьями. А кого разнесло

ветром – никогда больше не встретились. И Тамнара с Онердон раскидало в разные стороны.

С тех пор и ищут потерянные мужья и жены друг друга по свету. Случается и находят, узнают, вспоминают сердцем, что когда-то бродили вместе по полям далекой страны. Но не быть им вместе, не жить нежностью, не ложиться в молодой снег голова к голове. Лишь разлуки и слезы, разъятые руки и потухшие очаги написаны на роду. Нет им на земле счастья.

Только здесь в беспечальной стране Ярви, в роце между мирами можно нам повидаться, поделиться теплом, посмотреть вместе на огромные звезды, уснуть на теплом ковре из зеленого мха. Только здесь мы танцуем в тумане под пересвист дроздов и веселых пеночек, только здесь видим друг друга такими, какими нас создал великий дух. Ведь если двое слеплены из одного куска глины даже грозный Сэвеки не может разделить их.

День да ночь нам даны, любовь моя. А как покажется над землей первый луч солнца, ты родишься у одной матери, я рожусь у другой. Забудем, кем были, как звались, как сплетала и бросала нас жизнь. И словно слепые щенки снова станем искать друг друга...

- Нет, не может такого быть! – возмутился шаман. – Всякое проклятие снять можно! Отыщу я великого духа Сэвеки, паду ему в ноги, обману его, напугаю, выкуплю наше счастье красной ценой. Ты душа моя, Мэнгунари,

твоими глазами смотрю на небо, твоими ногами хожу по земле, твое сердце бьется в моей груди. Как я это забуду?

Улыбнулась Златовласка и ничего не сказала возлюбленному. День к закату, времени до утра. Отражаться в синих озерах, сыпать горстями белый песок, есть голубику с ладоней и смеяться испачканным темным губам. Прятаться за огромными соснами, кидаться шишками, словно дети, бороться и падать спиной на мох. Слушать, как сторожко пролетает сова по лесу – уюй! Уюй! Как вторят ей дальние волки угрюмым хором. Спина к спине сидеть подле костра, следить как тают в темноте беспокойные искры. Чувствовать себя целым – одной душой, одной плотью. Видеть, как светлеет полоска неба и роса словно слезы опускается на траву...

На секунду дрогнули ресницы шамана, закрылись глаза. Тьма подхватила его и повлекла черным водоворотом прочь от тела, прочь от земли. Горячо сделалось, тесно, душно и страшно. Где моя Мэнгунари, где беспечальная страна Ярви? Никогда не забуду тебя, никогда не оставлю, женааа!...

- Ишь как заливаается, - улыбнулась старая повитуха. – Богатыря родила, мать, на порадуйся!

Усталая мать приложила к груди младенца:

- Ай, хороший у меня сын. Смотрит – словно все понимает, словно помнит просторы Верхнего мира. Мудрецом себя явит, шаманом или великим вождем!

- Мама, мама! – закричала старшая дочка. – Пусть он храбрым воином будет, принесет мне золотых колец из набега.

- Мама, мама! – закричала средняя дочка. – Пусть он силачом будет, воду из реки носит, оленьи кожи мнет.

- Молчите, женщины! – отмахнулся отец. – Кем на роду написано, тем и вырастет, лишь бы человеком стал.

- Хватит спорить, не то молоко у матери пропадет. – проворчала повитуха. – Ступайте прочь, дайте женщине отдохнуть!

Выйдя из теплого чума на яркий морозный воздух обрадовался мужчина. Небо ясное, снег искрится – добрые знаки. И звезда падучая перечертила небо – еще одна душа пришла в мир! Пусть ей счастье достанется – столько же, сколько моему сыну...

Сказ о небесной горе

Мало в тайге на свет родиться, нужно отцу-матери пригодиться. Все знают – родительская воля на детях лежит, судьбу вершит – жить ли младенцу в чуме, отдадут ли его бездетной родне или женщине, потерявшей ребенка, или просто вынесут подальше от стойбища и оставят под деревом. Раньше такое частенько случалось – год голодный, дите увечное или хилое или девчонка не ко времени родилась. Сыновей-то отцы берегли – кто еще в старости кормить будет, кто принесет хвороста, раздобудет мяса и шкур? А дочка отрезанный ломоть – ушла и богатство с собой унесла: меха ей дай, бусы красные, кость моржовую. Разом не напасешься!

Охотнику Мэргэну и его жене славной Сигуне сперва повезло с детьми. Один за другим появились на свет три сына – здоровые, голосистые, краснощекие. Смеялись соседи – один за подол держится, один на ножки встает, один сиську сосет. Когда, мол, успела? А Сигуна знай отмахивалась и ворковала над малышами.

В четвертый раз появилась на свет девчонка Ингилана – и вправду крепкий мороз стоял, когда она впервые заплакала. Хмурый Мэрген поглядел на красное личико, посмотрел в молящие глаза жены и махнул рукой – пусть живет. Где трое там и четверо, прокормим не пообедем.

Еще три раза носила Сигуна тугой живот, еще трижды рожала девочек. Тут уже Мэрген не колебался – сам

забирал дитя, сам уносил подальше, чтобы и плача не слышали в стойбище. Одну девчонку, поговаривали, отыскала бездетная вдова и воспитала, как дочь. Другую приютила волчица, вырастила со своими щенками. А третья запропала бесследно – даром убивалась Сигуна, утирала слезы длинными косами.

Трое сынов тем временем выросли да окрепли – зима-другая и старшему невесту искать пора. И Ингилана тянулась за братьями. Любила расшивать торбаса, разводить огонь, низать бусы из красных ягод. И возиться с малышкой не хуже родной матери, утирать им носы, смазывать мордашки тюленьим жиром, чтоб не заела мошка. Не раз и не два просила девочка у Сигуны – роди мне братика. А мать лишь отмалчивалась и вздыхала.

Засеребрились уже длинные косы женщины, когда снова понесла Сигуна. Старухи говорили – мальчика ждет, ишь как похорошела. И вправду в положенный срок на свет родился крепкий парнишка – крупный, крикливый, сразу видно в отца. Назвал его Мэрген Дэгияном, четвертым сыном, засмеялся от радости – будет кому стариков потешить, когда старшие дети в свои жилища уйдут. Взял на руки, вынес показать людям, вернул к теплой материнской груди.

Сигуна надышаться не могла на младенчика, кутала в соболиное одеяльце, тешила серебряным бубенцом, смазывала щечки медвежьим жиром – пусть растет крепкий. Ишь как внимательно на мамку-то смотрит, глазом не моргнет...

Первой бабка, кривоногая Ляридо заметила – глядит малыш на солнце и не щурится, словно свет ему не вредит. Потом Ингилана неладное почуяла: на голос братишка отзывается, а лицо сестрички словно не узнает. Игрушку ему дашь – пальчиками ощупает, потрясет, прикусит, а смотреть на нее не станет. А там и Сигуна прознала – правду в карман-та не спрячешь. Пока Мергэн с сыновьями на охоту ходил, позвала шаманку, поклонилась горькой водой да сладким сахаром: вылечи мне дитя! Поглядела мудрая на Дэгияна, поводила корявыми пальцами перед распахнутыми глазами, переменилась в лице и вернула матери ее дары.

- Ни камлать дитю, ни лечить его не возьмусь, хоть убейте. Слеп твой сын от рождения, ничем тут не поможешь.

Как прознал Мэрген про несчастье – аж почернел. Бабку побил, суп горячий на снег вылил, собаку зашиб поленом, горькой водой мало не захлебнулся. А потом стал жену поедом есть: вынесем да вынесем сына в лес! Калека он, никогда работать не сможет, отцу-матери не поможет, только обузой будет. Зачем семье лишний рот? Совестила мужа Сигуна, упрашивала – мол и имя у ребенка с рождения есть и к груди его приложили, дурно теперь жизни лишать, духи разгневаются. Мэрген – ни в какую. Ослушаешься меня, жена – уйду из дома, и силки с собой заберу и самострелы и чугунный котел и чайник. Живите как хотите с уродцем слепым на шее!

Что поделаешь, кроме слез? Будь у Сигуны один сын, может и уперлась бы баба, пошла у родни помощи просить, прокормилась бы с горем пополам. Так ведь еще трое сыновей в чуме, едят как большие, а мясо добывать еще малы. И дочка-красавица подрастает, куда без приданого? Одной, однако, не справиться.

Поплакала Сигуна, попричитала, да и согласилась с мужем. Если такова твоя отцовская воля, Мэрген, дождись первых морозов, напои сына сонной травой, да и унеси в лес – пусть уснет тихо и не проснется или снежные духи его заберут или шаман придет. А пока дай понянчить-побаловать мальчика – с нас не убудет. Покреб в затылке Мэрген и дозволил слепому остаться до зимы в чуме.

С рук не спускала мать сыночка, росой его умывала, густым молоком и сладкими ягодами потчевала. Каждый день духов молила, бабушку Огонь упрашивала – исцелите моего Дэгияна, заколю для вас жирного оленя. Звонко смеялся малыш, слушая мамины приговорки, хлопал по коробу ладошками, смотрел на белый свет незрячими глазами. Не знал, что листья вокруг краснеют и трава поутру поникает от инея...

А Ингилана знала. Трижды она видела, как отец уносил в лес детей, трижды слышала, как затихает вдали плач сестренки. И решила, что ни за что не позволит брату погибнуть. Дождалась она темной ночи, закутала малыша Дэгияна в меха, прихватила сала горшок, нож да

иголку, поклонилась спящим родителям – и подалась в тайгу восвояси. Только ее и видели.

Ночь брат с сестрой под елью разлапистой ночевали, день по тропкам бродили. Надеялась Ингилана отыскать дорогу к охотничьему балагану, которую Иваны-звероловы поставили запрошлой зимой, да и забросили. Но то ли тайга водила, то ли Ингилана была мала – не нашли дети крыши над головой. Дэгиян плакать стал – сало ему не по нутру, молока хочет. Девчонка и так и сяк извертелась – не унимается. Наконец отыскала во мху немного шикши, нашелушила орехов из кедровой шишки, нагрела камнями водицы в берестяном туюске, намешала супчик, накормила малыша. И села у огня, пригорюнившись. Как они вдвоем в лесу справятся, кто им мясо приносить будет, кто шкур добудет для чума?

Вдруг слышит Ингилана – волчий вой по тайге разнесся. Идет стая, ищет добычу. А ну как сейчас их с братиком съест? Взяла девочка длинный сук, ткнула в сало – зажгу, напугаю зверя. А вой все ближе, кругами ходит. Слышно уже, как шуршат листья под крепкими лапами, как часто дышат звери, предвкушая добычу. Один за одним показались из зарослей клыкастые волки. Следом – девочка в оленьей шкуре помладше Ингиланы – загорелая, сильная, на шее бусы из ягод, в волосах птичьих перышки воткнуты.

- Ай-ай, - закричала девочка. – Волки стойте, не ешьте людей! Сестрица Ингилана меня нашла!

Порычали волки, поскалили белые зубы и улеглись себе у костра, словно лайки. Если на хвост не смотреть – не различишь. А девочка обняла Ингилану, носом о нос потерлась, заплакала от счастья:

- Я Чинукай, сестрица. Когда отец меня в лес унес, мама-волчица подобрала, со своими щенками вырастила. Вот моя семья, братья-сестры. Теперь еще теплее жить станет!

- Как же ты живешь в тайге, сестрица? Где твой чум?

- Нет у меня чума, сестрица! Нашла медвежью берлогу, сделала крышу из веток, трава выросла сверху.

- А огонь как разводишь? Или сырое мясо ешь как волчица?

- Есть у меня и огниво и трут и постель моховая и одеяло из медвежьей шкуры. Пошли, покажу!

Взяла Ингилана братца на руки, подхватила немудреные пожитки и пошла за сестрой. И вправду в лесной глуши выстроила себе Чинукай хорошую землянку. Всем троим места хватило. Так и зажили.

Чинукай с волками на охоту ходила, мясо добывала. Ингилана одежду из шкур шила, поесть готовила, братца нянчила. Летом, бывалоча, и за щенками присматривала, пока волчицы зверя били. Как подрос Дэгиан, стала тоже охотиться – Чинукай сестрицу и копьем махать выучила и из лука стрелять и рыбу ловить. Не хуже

волков загоняли девушки дичь, ни кабана не боялись, ни сохатого лося, ни злую росомаху. Вместо землянки балаганчик поставили, печку-щепочницу у купца Ивана стащили – старик еще радовался, что не сожрали его волки, не попортили дорогие товары. Выросли девушки – загляденье, крепкие, румяные, косы лоснятся, зубы сверкают...

Дэгиян же остался худым как птенец, даром что сестры ему еды не жалели. Пока мал был, далеко от дома не отходил – на полянке на солнышке грелся, шишки да камушки перебирал, листочки разные растирал пальцами. Подставлял ладошки, позволял муравьям по себе ползать, бабочкам да стрекозам садиться. С волчатами возился, словно и сам волчьей крови был, и не разу четвероногие родичи его не укусили. Впрочем, его вообще никто не кусал – ни злые таежные осы, ни неразборчивая мошка, ни проворные плоскоголовые змеи. Бывало, что сестры заставляли мальчонку спать в обнимку с рысью или свирепым лесным котом. А однажды Дэгиян чуть не месяц бродил по берегам Оленьего озера с медведицей и парой проказливых медвежат.

Мальчик по-прежнему ничего не видел, лишь различал свет и тьму. Зато чутьем превосходил любого серого брата, с пары вдохов различая, какая порода дерева нынче дымит в печи, расцвели ли жарки на солнечных пятнах и далеко ли сестрицам пришлось бежать за оленем. И слух у слепого сделался тонок, всякую птицу

узнавал он по голосу, всякий ручей по звонкой песне воды. Угадывал, что за зверь подходит к поляне, несет ли ветер дождь или снег, где под землей прорыли ходы шустрые мыши, где толстый дятел услышал червяка и долбит клювом сосну или могучий дуб.

На охоту с сестрами Дэгиян ходить отказался. А затем в одночасье перестал есть мясо – не хочу, мол, питаться убоиной, не хочу отымать чужую жизнь. Сестрицы его и увещевали и совестили и не кормить пробовали – тщетно, уперся парень и настоял на своем. Стал, словно медведь, добывать себе кедровые шишки да дикий мед, сушить ягоды, грибы, корни рогоза и луковицы саранки. Ингилана порой подзывала лесных лосих и доила их, чтобы братика молоком побаловать, или рыбу ловила в Оленьем озере. Чинукай сердилась: что ты делаешь, не мужчину растишь!

Младшая сестренка вдруг за одну весну похорошела, заблестели веселые глаза, затанцевала походка. Любопытная Ингилана долго гадала, что приключилось с девушкой. А потом увидала, как на краю леса встречает сестру молодой ороchon, как подхватывает на руки, кружит и звонко смеется, называет ее Синнигды – любимая.

Горькой обидой оделось сердце Ингиланы, злыми слезами наполнились черные глаза. Как могла сестра завести себе друга и ничего не сказать, на кого она бросит семью, почему ее парень так отчаянно прекрасен собой? Отдалилась она от Чинукай, перестала с нею

охотиться, пересмеиваться по вечерам, расчесывать ее черные косы – боялась, что не выдержит и отрежет сестре волосы, а то и горло от тоски ножом перечертит. Ее-то, перестарку, замуж уже не возьмут, поди...

Однако младшая оказалась хитрее – привела однажды к балагану своего милого, веселого охотника Юргина и велела тому, просить у брата сестру, пусть она заживет счастливо. Послушал их Дэгиян, понюхал воздух и велел парню брать в жены обеих девушек. Обе сильны, обе добросердечны и детишек рожать готовы. А одна без другой как правое крыло без левого. Подумал охотник, поглядел на пылкую младшую сестру, посмотрел на заботливую и мудрую старшую – и бросил башлык оземь. Была не была, две жены не одна жена, с обеими заживу!

Заплакала Ингилана, обняла сестру стала у нее прощенья просить. И Чинукай слезами умылась. Много тут было говорено-переговорено, девушки на то и девушки, чтобы слова на ветер бросать. Собрали сестры свои пожитки, чтобы к новому мужу в чум перебраться. Сказал Юргин:

- Ступай с нами жить! Сыт будешь, одет будешь, братом тебя назову. Что тебе одному в тайге делать?

- Не спросил бы, не отдал бы тебе сестер, - улыбнулся Дэгиян. – Хорошим мужем станешь, не обидишь жен. А мне в стойбище делать нечего – в тайге вырос, здесь и пригожусь. Пусть я слеп, но не хуже любого зрячего лес чую! Об одном жалею, что не вижу, как красивы мои сестры в невестах.

На нет и суда нет. Ушел охотник с молодыми женами в стойбище, очаг разжигать, еду варить, семью делать. Младшая-то, Чинукай, недолго среди людей зажила – она с волками росла, к воле привыкла. Двух зим не прошло, как оставила она мужа и вернулась назад в стаю. А Ингилана хорошей женой стала, любила Юргина, детишек ему рожала и сестрина малыша воспитала как своего.

У Дэгияна в балаганчике словно ничего и не поменялось. Давно еще сестры выстругали из рябинового ствола посошок, чтобы братец везде ходить мог. Вот он и ходил –и по знакомым тропам и по чужим местам, ловил лицом восходящее солнце и первый веселый снег. Случалось, парня братья-волки провожали к берегам Оленьего озера или братец-барсук впереди бежал, указывал, куда шагать. Барсука слепой вытащил из якутской ловушки, выходил, выкормил и приручил. Гордый зверь отвечал дружбой на дружбу.

Секреты трав рано открылись Дэгияну, тайны живого тела сами пришли в руки. Как течет по сосудам кровь, как стучит сердце, как скреплены кости и сплетены сухожилия. Когда нужно ослабить жар или согреть тело, когда отлежаться, когда пробежаться, напрягая все силы, когда умерить боль, когда пройти сквозь нее и очиститься, как очищает пламя костра. Чуткими пальцами прикасался слепой к страдающим зверям и птицам, искал – можно ли помочь или хотя бы облегчить муки.

Травы он определял нюхом, вкусом и мудрыми пальцами. Знал: меняются свойства растения в срок от весны до осени, в солнечный или дождливый год, в низинке или горах, подле болота или на сухой поляне. Вот морошка – сладкие ягоды придают сил и заживляют раны, листья пьют при тяжелом кашле, корни заваривают, чтобы остановить кровь. Ягоды нужно собирать зрелыми и держать в меду, листья брать молодыми и мягкими, корень выкапывать осенью и сушить в темноте. Чем дождливее год, тем слабей сила морошки, чем больше солнца, тем лучше. Кисловатые духмяные листики саган-дайли рвут в конце лета, когда уходит тепло, и вялят непременно подле живого огня. У пушистых ладошек мать-мачехи сила есть лишь весной. А дубовая кора целебна, когда ее ни сорви.

Карта трав сравнима с ощущением звездного неба над головой – есть светила, что указывают странникам путь, есть те, что определяют судьбу, сулят бедствия или блага. Но в большинстве своем звезды просто кружат по небу своей чередой, ничего не делая людям. Так и ягоды, деревья, дикие травы – в одних есть целебные силы, в других угроза или пища, но все они растут своей волей, не для зверя и не для человека. Чуткий Дэгиян старался не принуждать растения, брал лишь то, что хотели дать, и сам готовил замысловатые зелья.

Орочоны, эвены и иные настоящие люди, что потянулись к слепому за исцелением, называли его великим шаманом. Сердитый Дэгиян отмахивался – ай, брось!

Какой я тебе шаман? И вправду – слепой ощущал духов как стылый туман или теплое дыхание ветра, не пахнущее ничем. Но не беседовал с ними, не слышал и не подчинял. То ли дело прикоснуться к стволу рябины, потянуться трепещущими листьями к солнцу, зарыться острыми корешками в вязкую землю, слышать кротов и земляных червей, легкие шаги изюбря, конский топот, тяжелую поступь медведя...

Настоящий шаман сам явился к новому травознатцу, старый эвенский хитрец Амба, что носил на шее ожерелье из тигриных клыков. Решил разузнать, откуда пришел, куда идет, почему чужой кусок отымают и платы с людей не берет.

Дэгиян, однако, и вправду ничего не просил – дадут что и ладно, не дадут и не нужно – еда есть, крыша над головой есть, а таньга в тайге ничего не стоят. От волка ими не откупишься, пожар не потушишь, из трясины себя не выкупишь. Мед брал, сахар брал, рис китайский, муку – ее-то в северных краях не враз отыщешь. Якутский купец дочь отдал за исцеление от злой лихорадки – тоже взял. Долго ругался, однако, гнал девчонку домой, но та как репей к кабаньему задку прицепилась и ни в какую. Понемногу прижилась в балагане, навела порядок в хозяйстве, шкуры проветривала, еду варила, лепешки пекла. Затем и травы стала собирать да сушить, ходила куда ей слепой скажет. И зверья не боялась, словно тоже в тайге росла. Дэгиян звал ее Суптылэ-колючкой, жил с ней как с сестрой и никому не позволял обижать.

Подошел к балагану старый Амба – видит люди сидят смирнехонько, ороконы, эвены, якуты, Иван-солдат, монгол лошажник. А рядом кабан лесной своей очереди дожидается, волчица лапу зализывает, сыч лохматый на свет щурится. Растолкал толпу Амба, в балаган ввалился, покрутил носом, помахал трещоткой, поглядел, что за травы висят по стенам. Потом позвал:

- Ай, безотчий сын, иди сюда, говорить будем! Зачем к шаманам не ходишь, зачем воду в реке мутишь?

Ничего Дэгиян не ответил, лишь уставился на гостя распахнутыми глазами, в которых небо навек застыло. Шарахнулся Амба, спиной вперед из балагана вылетел, сам зарекся к слепому ходить и прочих шаманов отговорил – не по ним силища, даром что травознатец хилый мальчишка и духи к нему не ходят. Пошумели мудрые, бубнами потрясли, трубками подымили, и думать забыли – мало ли у людей своих хлопот. А Дэгияну что – как жил без шаманов, так и дальше жить стал.

Приходили к балагану люди – лечил людей. Приходили звери – и зверям помогал, как мог. Уставал – брал посох, брал барсука или лайку ничейную, что к теплу приютилась, уходил в тайгу с деревьями говорить или родники слушать, искал редкие ягоды да корешки. Водил по воздуху носом, раздувал ноздри – откуда хмельной сладостью повеет или холодной горечью, в сон потянет или кровь по жилам быстрее побежит. Белый мох – от мокроты и хрипоты, крапива от женских кровей, маралий

корень от всякой немощи. Жаль, нет на свете такой травы, что слепому глаза откроеет.

С некоторых пор стал Дэгиян видеть сны, аж измучился. Бывалоча с утра до утра дрых, как медведь в берлоге – лишь бы поглядеть на деревья и реку, на сестер веселых, на отца и братьев, которых никогда и не знал. То на охоту ходил, то плоскодонку мастерил с братьями, то с невестой сговаривался. Счастлив был и смеялся во сне Дэгиян. А потом падал с неба горячий камень размером с гору и злым огнем выжигал дотла стойбище, всю родню, все чумы, всех птиц и лесных зверей. И его, Дэгияна, тоже живьем палил. Пробовал слепой травы заваривать, чтобы спать без просыпу – не помогало. Пробовал трудом себя умучивать до последней возможности – без толку. Возвращались сны каждую ночь, все страшнее делались.

Другой бы к шаману пошел за советом, но слепому путь заказали. После Амбы ни один говорящий с духами к балагану не подходил. Может сестра подскажет? Ингилана-то в тайгу редко захаживала, ей муж и дети свет застили. Здоровы все – значит и братца тревожить нечего. А Чинукай так с волками в лесу и бегала, волей пуще всего дорожила. Решил Дэгиян навестить сестру, порасспрашивать, покумекать. Глядь, а она сама в балаган постучалась ночью:

- Звери у костра собрались, дорогой братец, тебя зовут, со всем уважением просят.

- Ужели заболел кто или сбесился или Та, что приходит ночью, в наши края заглянуть решила?

- Беда близко, а как с ней сладить неведомо.

- Знаю, - буркнул Дэгиян, взял посошок, подпоясался да и вышел. Девчонка якутская, Суптылэ, с ними просилась, не взял ее слепой. Наказал ждать и не тревожиться. И чтоб выть не смела, как по покойнику, ишь удумала! Суптылэ носом шмыгнула и послушалась.

Долго ли коротко ли пробирались брат с сестрой по тайге, да и к костру вышли. А там кого только нет у огня. И медведь Чабакан рычит и волчица Иргичи поскуливает и рысь Секалан когтями сосну дерет и олень Учак рога об кору чешет и лиса Хэлмилэн пахнет лисьей норой и куропатка Келахи квохчет испуганно. А громче всех ворон Кэре каркает-заливается. Почуяли звери человека – не разозлились, не разбежались, лишь подвинулись и к огню пропустили.

Дала Чинукай братцу три ягоды – горькую как желчь, кислую словно клюква и сладкую будто мед. Проглотил их Дэгиян и начал звериную речь разбирать, как если бы волком в норе родился. Говорят лесные братья, мол, летит в тайгу с неба горячий камень большой как стадо мохнатых мамонтов. Упадет – всю тайгу сожжет, зверей и людей заодно. Как бы нам избежать напасти?

- А давайте норы выроем и под землей спрячемся? – крикнул горностай Киранас. – Нас огонь не достанет!

- Глупый ты, - каркнул Кэре. – Когда пожар по тундре идет, земля плавится. А тут огонь еще злее покажется.

- А давайте запруду построим и озеро разольем, - предложил бобр Чэлбэн. – Упадет туда горячий камень и враз остынет.

- Глупый ты, - каркнул Кэре. – Как узнать, куда камень свалится?

- А давайте в каменный город уйдем к людям, защиты у них попросим? – пискнул бурундук Улкичэн.

- Глупый ты, - закричали наперебой звери. – Придем к людям, всех застрелят, мясо съедят, шкуры на толстых жен наденут.

- Хватит гомонить без толку, - рыкнула Белая Росомаха. – Есть у меня средство. Далеко-далеко отсюда, там, где земля круглый год льдом покрыта, растет снежное дерево. Корни у него белые, ветки белые, как подует ветер – качаются ветки, поднимают метель. В самый долгий день года, когда солнце не гаснет, распускаются на дереве голубые цветы, хрупкие словно льдинки. День короче делается – плоды на ветках круглятся. А когда вызревает снежное яблоко, падает вниз – по всей земле зима начинается. Знаю я, где найти дерево, знаю, как достать плод. Не знаю лишь, как добросить яблоко до горячего камня.

- Я знаю, - закаркал Кэре. – Полечу высоко-высоко, крылья у меня сильные, кровь горячая. Как увижу горячий камень, так и заморожу его.

- Глупый ты! – рыкнула Белая Росомаха. – Горячий камень сияет ярче солнца полуденного, увидишь его – ослепнешь и упадешь вниз.

- Я помогу вам, мудрые звери, - вышел вперед Дэгиян. – Ослепнуть мне не страшно, уже слепой. Вот только летать не умею. Одолжишь мне свои крылья, ворон?

Каркнул Кэре, а что сказать – не знает. А ну как не долетит Дэгиян, а ну как погибнет и крылья вместе с ним. И станет он, Кэре, словно курица глупая по земле на двух лапах бегать... А не даст так все ясным пламенем погорит.

- Была не была! Забирай мои крылья, человек, лети на небо.

Так и порешили. Собрала Белая Росомаха быстроногих оленей да побежала с ними на дальний север. Дэгияна в нарты посадили, повезли следом. Ворон Кэре впереди полетел. А горячий камень все ближе, дни все теплее. Пора бы и снегу падать – а деревья по второму разу цвести начали, из-под бурой травы зеленая язычки кажет, ящерицы на камнях греются. И мошка не спит – оленей искусила, Росомаху погрызла, за Кэре как хвост летала. Одного слепого не тронула.

Ехали они, ехали, ноги стоптали, глаза высмотрели. Вот и дерево показалось из-за торосов – а с веток вода кап да

кап. Только одно яблочко близко к земле уцелело. Позвала Росомаха длиннорогого оленя, подхватил он снежный плод на рога, снял с ветки – бери, человек. Рыкнула на Кэре – скинул старый ворон верные крылья, каркнул жалостно – бери, человек. Приложил Дэгиан крылья к плечам – приросли, как родные, сунул снежное яблоко за пазуху – уух, морозит. И стало ему вдруг страшно. Никогда ничего не боялся слепой, думал, все плохое с ним в жизни уже случилось. А тут как сорвется в полете, упадет замертво, и некому будет горячий камень остановить.

Ткнула слепого Белая Росомаха мокрым носом, фыркнула на ухо:

- Ради этого дня ты на земле родился. Лети!

Взмахнул Дэгиан крыльями и поднялся в воздух. Свободный, легкий, словно и вправду стал птицей. На груди холодно от снежного яблока, лицу тепло от горячего камня, под ногами воздух колышется, крылья ветер разрезают, перья гудят. Силой наполнились плечи слепого, застучало в груди тревожное сердце. Чу - звериные голоса на земле затихли, птицы умолкли. Влажные облака окутывают, сырость пробирается под одежду. Снова небо, чистое и просторное, ни звука, ни шороха не услышишь, только свое дыхание. Выше, выше поднимает воздушный поток, туда где пламя кипит.

Алое и багровое, ослепительно яркое пламя.

Закричал Дэгиян от нестерпимой боли, зажмурился, а когда снова открыл опаленные веки, понял, что видит. Яркий свет выжег муть в мертвых глазах, дал разглядеть разноцветный прекрасный мир. Густую – хоть ложкой ешь – синеву неба, колючую россыпь холодных звезд, клочья белесых облаков. И громадный пылающий камень, что стремительно мчит к земле.

А я тебя rrrраз! Понесся навстречу красному белый шар, рассыпался в воздухе мириадам ледышек. Ах, как они блестели, как переливались, отражая языки пламени! Почувяв недоброе, полетел Дэгиян прочь со всех крыльев – где огонь и мороз столкнутся, человеку не место. Не успел – отбросило его, закрутило, по небу поволокло куда глаза глядят. Сквозь тучи, сквозь пар горячий, сквозь мглу. Да еще и каменный дождь посыпался – горячий камень на тьму осколков разлетелся. Едва успевай уворачиваться, по сторонам глядеть. Только бы крылья не поломало, не простит меня тогда старый ворон!

Чудом не сбился с полета Дэгиян, не свалился наземь, когда его занесло. Выкрутился, раскинул крылья и воспарил высоко как мог. Увидал – камушки мелкие разноцветным огнем сгорают, а до земли долететь не успевают. Вот страшно-то должно быть всем, кто сейчас в чумах отсиживается, в избах деревянных под лавками прячется, в норы забился да в дупла! Вот скулят, небось, плачут, прощения друг у дружки просят, в обидах каются. А все уже хорошо! Небо синее, тучи белые, внизу красный лесной ковер раскинут с голубыми нитками

речек. Если спуститься ниже, видны и кроны деревьев, и лосиха с лосятами, что подле вывернутой сосны прячется, и дикая свинья со своими подсвинками, и волчья стая на дневке. А вот и Оленье озеро, две белых скалы- рога торчат из темной воды. А вот и тропы мои тьму раз хоженные-перехоженные. А вот и мой балаган! А вот... что за чудо у меня завелось?

Сидит на пригорке девица красоты несказанной – косы в руку толщиной, волосок к волоску заплетены, скулы высокие, щеки румяные, зубки ровные, глаза так и сверкают. На шее бусы красные, нагрудник речным жемчугом расшит и торбаса сплошь посверкивают. Чистит девица здоровенную щуку – только чешуя в разные стороны брызжет – да напевает песню о могучем шамане, великом Дэгияне, что поднялся на небо заморозить огненную гору. Да это же Суптылэ-колючка! Где были мои глаза?

Опустился Дэгиян на траву, подбежал к якутке, хотел обнять. А девчонка его обеими руками оттолкнула и мокрой щукой прямиком по загривку стукнула:

- Убирайся отсюда, крылатый дух, знать тебя не хочу, ведать не ведаю! Одного Дэгияна, моего господина, люблю!!!

- Так я ж и есть Дэгиян, колючка моя ненаглядная. Вижу тебя и жалею, что слепым родился, столько дней не любовался на лучшую в тайге женщину. Буду звать тебя

Ая – милая, забудь прежнее имя. И поди ко мне в жены, никому тебя не отдам.

Не поверила сперва девчонка, потом пригляделась, приняхалась. Лицо Дэгияна и одежда его и кухлянка якутским узором обшита.

- Ай-ай, ты вернулся! Страху без тебя натерпелась, слезами умылась!

- Тише, Ая, больше бояться нечего!

Обнял Дэгиян свою невесту и пообещал, что никогда больше с ней не расстанется. Так и вышло. Долгая жизнь была ему отмерена веретеном судьбы, но с того дня не покидал он берега Оленьего озера, ни в горы ни ходил, ни по тропам, ни к больным дальше стойбища не выезжал. Крылья ворону вернул без обиды, мясом да рыбой отблагодарил Кэре, торбаса расшитые ему справил. Зрение, что горячий камень подарил, понемногу пропало – месяца не прошло, как травознатец едва лицо любимой жены различить мог средь бела дня. Но и этой благодати ему хватило – глядел Дэгиян по сторонам и насмотреться не мог. До чего же снег бел, а плющ ярк, сколько мудрости в кротком взгляде оленя, как танцует в печи веселое пламя, как горят ярким румянцем щеки жены и осторожно круглится ее живот...

А ведь не был бы слеп всю жизнь – не заметил бы.

Подарки Бабушки Огонь

Жили-были два названных братца в стойбищах по берегам каменистой быстрой речушки. Стойбища когда-то единым родом стояли. Но перессорились люди между собой, из-за чего и старики уже не вспомнят, и разделились, расселились по берегам. В правом стойбище, Анну, на всякого зверя охотились, меха добывали, желчь медвежью, жир барсучий. В левом, Деигну, рыбу ловили на себя и на всех соседей. И коптили рыбу люди и квасили и сушили и морозили и дорогой солью присаливали – ешь не хочю.

Взрослые между собой не враждовали, но и любви особенной не питали – поменять лисью шкурку на пару жирных сигов и весь разговор. Детишки бывалоча дрались до красных соплей, а бывало играли вместе. А Улгэр из Анну и Туманча из Деигну сызмальства так сдружились, что кровь смешали, братьями стали друг друга кликать.

Туманча, сын рассвета, был постарше и покрепче, Улгэр, родившийся под звездным небом, пошустрее да посмешливей братца. Вместе мальчишки на диких гусей охотились, вместе рыбачили, вместе плот по весне собрали и по речке сплавлялись, вместе от медведицы улепетывали и от паводка на высокой сосне отсиживались. Матери их уже и бранить перестали – войдут в возраст, пойдут каждый своим путем. А пока малы – пусть играют.

Братцам того и надо – лето жаркое, воля вольная, живи да горя не знай! Выпросил Туманча у отца берестяную лодчонку-двя, починил ее вместе с Улгэром и повадился плавать туда-сюда по речушке. Где пыжьянов да майгунов из воды натаскают, где товар или путника с берега на берег перевезут, где девчонку пригожую домой подбросят. Невелика прибыль, а все матери меньше ворчат.

А еще был у братцев секрет – свой собственный островок, повыше стойбищ. Там река петлю делала, протока заросла глухо. Не знаешь, где искать, ни в жисть не найдешь. Братцы знали. Поставили там берестяной чум, обустроились как умели. Пару шкур старых да горшок треснутый у матерей выпросили, туески для ягод сами сплели. По два, по три дня порой на островке сидели, в войну играли. Понаделают фигурок из дерева: вот нойон, вот хан, вот большой Иван, вот сердитый шаман – и двигают, будто вправду войска ведут.

Поесть, попить забывали, мошка братцев поедом ела, дождь мочил, солнце жарило – ништо. Полюбилась им игра, пришлась по душе сказка. И один другого обыграть никак не мог – то Туманча монгольской конницей русского Ивана в болото скинет, то Улгэр схитрит и нойоны Белого царя монголов в кольцо возьмут. Азартно бьются мальчишки – мнится им, будто сверкают в воздухе сабли, свистят стрелы, ржут кони, вздымается ханский бунчук, развевается по ветру знамя, просят о помощи раненые...

- Ай, помогите, ай!

Переглянулись братцы и побежали к реке, поглядеть, кто кричит. А там старушонка кафтаном за камень зацепилась, плещется, да верещит раненым зайцем. Ну Улгэр сбросил одежонку, прыгнул в реку. А Туманча лодку отвязал, шестом отталкивается, поближе подбирается. Нелегкое это дело человека из воды вытащить! Отцепил Улгэр полу кафтана, потянул старушонку за собой к лодке, а глупая баба за борт уцепилась. Дяв-то и перевернулся. Однако не бросили братцы старушку, ухватили ее под руки, сами чуть не потопли, но вытащили. Сидят, дышат. А старушонка дрожит, зубами стучит.

- Ай, холодно мне, ай, умираю!

Что поделать? Оттащили братцы мокрую бабку в чум, очаг разожгли пожарче, укутали в шкуры, накормили чем было, не укорили ни за лодку потопленную, ни за то, что все запасы подъела. Как согрелась старая, спать уложили на свое место. А сами до утра просидели, огонь поддерживали. На рассвете уже не выдержали мальцы, глаза позакрывались.

Проснулись – глядь, у очага всякой еды на семерых выставлено, а над кушаньями хлопочет давешняя старушонка. Лицо у нее румяное, глаза добрые, кафтан новехонький, на голове повязка, жемчугами расшитая. Ни дать, ни взять Энекан-Того...

- Здравствуй, Бабушка Огонь! Пылай ярче, грей жарче! – закричали наперебой братцы.

Улыбнулась старушка, обняла братцев, за еду усадила, да знай подкладывала. А потом и говорит:

- Спасли вы меня, братья названные, от неминуемой смерти. Просите теперь чего хотите – любые ваши истинные желания исполню.

- Совсем любые? – ахнул Туманча. – А если я монгольским ханом стать захочу и войска на белого царя повести.

- А если я на звезде хочу побывать, той, что над чумом светила в ночь моего рождения? – двинул бровями Улгэр.

- Умные мальчики! – обрадовалась Энекан-Того. – Слушайте внимательно. Просить-то вы просите, что захотите. А случится то, что может случиться. Ханом монгольским, я тебя внучек Туманча, не сделаю, но повоевать повоюешь, если таково твое желание. И к звезде тебя, внучек Улгэр, не отправлю. Однако шаманом станешь – сможешь по верхнему небу пешком пройти.

- Тогда... тогда я лодку хочу, - потупился Туманча. – Узнает отец, что я дядю утопил, - поколотит и прав будет.

- Беги к реке, внучек, - сказала Энекан-Того. – У берега твоя лодка да лучше прежней.

Умчался Туманча. А Улгэр с места не сдвинулся.

- Чем тебя отблагодарить, внучек? Хочешь лук со стрелами, что всегда попадают в цель? Или нож булатный, что для хана ковали? Или волк из лесу станет следом как собачонка бегать. Помнишь, ты волчонка приручить пробовал?

- Он потом в лес убежал, – вздохнул Улгэр. – Ты прости меня, Бабушка Огонь, но я тебя не затем из речки вытаскивал, чтобы награду просить. Все у меня есть – отец с матерью, сестры красавицы, брат названный. Лук мне дед отдаст, когда я охотником стану, пояс сестра вышьет, щенка отец принесет. Ничего мне не надо.

- Уверен, внучек? Сейчас не попросишь, потом не дам, - прищурилась Энекан-Того. – Дары даром не достаются.

- Ты брата названного и так одарила щедро. Он счастлив, и я за него счастлив.

- Быть по-твоему, - согласилась Энекан-Того. – Сколько просишь – столько и получаешь. А брату твоему передай: если еще что попросить захочет, пусть к черной горе идет, наверх лезет да костер у вершины разводит. Почую огонь и приду на зов.

Вспыхнул ярко очаг, зажмурился Улгэр. А когда глаза открыл – исчезла Бабушка Огонь, словно почудилась. А тут и Туманча назад к чуму бежит:

- Ай, брат, пошли лодку смотреть. Не обманула нас старая!

На берегу и правда лодка стоит, всем лодкам лодка. Юркая, ладная, крепкая, новенькие весла при ней, прочные сети да переметы. Даже черпак берестяной, чтобы воду сливать Энекан-Того не забыла. Рассказал тогда Улгэр о словах Бабушки Огонь и порешил с братцем молчать о встрече – нечего людям знать лишнее.

Все хорошо, одно плохо – пошла с того дня дружба вразлад. Перестал Туманча говорить «наша лодка», начал твердить «моя». Сам за рыбой стал плавать, сам товары с берега на берег перевозить наладился. И играть с братцем на острове больше не захотел, словно бы повзрослел в одночасье. Мать с отцом не нарадовались – славным хозяином станет сын. Улгэр расстроился было, но в стойбищах знают – кто летом тоскует, тот зимой голодает. А по весне мальчишки с отцами стали ходить – один охотиться, второй рыбачить. Не до игр им теперь.

Повзрослел Туманча, славным парнем стал, сильный, крепкий, к работе охочий, в делах удачливый. Одна беда: завистлив да ненасытен с годами сделался. На отца с матерью голос подымал – почему мол не торгуете рыбой, не возите ее в город, почему кафтаны заношенные и мясо в котле лишь по праздникам? Отец сына увещевать пробовал – не нужно человеку больше еды, чем он съесть может, и два кафтана на одни плечи не натянешь. Тщетно.

Послушал их Туманча, собрал вещички да отправился на черную гору, к Бабушке Огонь. Дорога туда долгая, через медвежьи леса, через топкие болота, по обрывам крутым, скалам острым. Да молодым ногам любая стежка столбовая дорога. Быстро добежал, огонь развел на вершине, угостил пламя как положено. А как явилась Энекан-Того, в пояс ей поклонился.

- Обещала ты выполнить любое мое желание. Богатство хочу. Золото. Много золота!

Кивнула Энекан-Того головой как китайский болванчик и скрылась с глаз. Озлился Туманча, решил – обманула старуха. Распинал костер торбасами, расшвырял ветки – глядь, в золе блестит что-то. Разрыл угли, увидел золото. Самородки да тяжелехоньки! Набил парень дорожные сумы, сколько унести смог, оставил мяса да табака на камушках и отправился напрямиком в город.

С грузом-то назад тяжелей идти оказалось. Чуть со скалы не сорвался Туманча, чуть в болоте не потонул. Но выбрался и ни единого самородка не потерял. Шел – мечтал, как богачом станет, дом построит как у попа Ивана, да чтобы с золотой крышей, коня заведет белогривого, на какого и хану сесть не зазорно.

Долго ли коротко ли, добрался парень до Туруханска. Нашел знакомого купца Ивана – тот, бывалоча, сплавлялся по реке, закупал рыбу, продавал бабам платки да бусы. И сказал – так и так, золото нашел, богато хочу жить. Несказанно повезло парню. Иван честным

оказался, не убил орочона, не обобрал. За малую мзду помог обратить золото в звонкую монету, поселил у себя в пристройке, купил русское платье, слугу нанял. Думать велел – если дела делать, креститься надо и решать, чем торговать, что покупать, что продавать. Лодки строить или склады держать или постоянный двор для заезжих гостей. Выбирай, молодой купец!

Загордился Туманча. Приоделся, причепурился – часы у него с цепочкой, шуба медвежья, шапка соболья, торбаса рысьим мехом отделаны. Повадился в кабак ходить, с купцами пить да не чай. А слуга Иван его знать подначивал – все купцы с Хмельницким-то дружбу водят, все кутят так что дым коромыслом. Понятно дело – года не прошло, как остался парень без ломаного гроша. Однако не помер, не замерз в сугробе, и от водки враз отошел как отрезало. Помстилась ему в камине Бабушка Огонь, погрозила пальцем, да рожу скорчила – куда там злomu духу!

Вернулся Туманча домой в Деигну. Мать с отцом его приняли, словом не попрекнули. Снова стал парень с отцом за рыбой ходить, сети тягать, солить да коптить – дело нехитрое. Мать только просить повадилась – женись да женись, сынок. Поглядел Туманча на девушек раз, поглядел другой – ни одна в родном стойбище не глянулась. А вот у соседей в Анну нашлась невеста по душе. Гиривлакан ее звали, мастерицей-вышивальщицей. Умела она из звериных шкур ковры узорчатые сшивать, мех подбирала волосок к волоску. И

не то чтоб красива была, но ладненькая, бедра широкие, ноги крепкие. Хорошей женой станет, много детей родит. Одно плохо – просватана была Гиривлакан за молодого охотника, сговорились семьи по осени свадьбу играть.

Ну Туманча знал, что делать. Собрал вещички да отправился на черную гору. Медвежьи леса миновал, топкие болота прошел, по острым скалам горным козлом пропрыгал. И разжег костер на вершине горы – так мол и так, Энекан-Того, хочу, чтобы Гиривлакан женою в мой чум вошла.

Кивнула Энекан-Того головой как китайский болванчик и скрылась с глаз. Туманча-то уже знал – все сбудется. И заторопился назад к невесте. Что ему леса, что топи – чум свой поставит, семьей заживет, детишек с женой наплодит.

Вернулся парень в стойбище, мать ему и рассказывает:

- Проходили мимо Анну купцы, да не Иваны, а немцы, из чужой земли, на чужом языке лопочут. Приглянулась одному рыжему Гиривлакан, подхватил он ее на плечо да увез с собой. Жених отбить пробовал – насмерть убился. Вот так беда...

Обозлился Туманча – обманула его Энекан-Того, не дала невесту. Лето проходил злой, как пес у которого кость отняли. А по осени вернулась Гиривлакан – худая, бледная, один живот под кафтаном вперед торчит.

Подумал-подумал Туманча да и плюнул – ковры-то невеста делать не разучилась, а детей и своих нарожать успеет. Взял девицу в жены и приданое за ней взял. И зажил как все – без радости, без печали.

Сынишка у Гиривлакан родился через три месяца после свадьбы. Чужой-чужой – длинноногий, рыжеголовый, тело белое, глаза синие. Крикучий, горластый, ел за двоих, рос за троих, не зря его Мэргэном-богатырем назвали. Мать на него надыхаться не могла, Туманча тоже привык со временем. Даже гордиться начал, ни у кого такого сильного да крепкого сына нет.

Жаль только не понесла больше жена. Зато трудилась как проклятая и ковры ее все красивей становились. Много таньга за них платили, купцы издалека приезжали. Подумавши, Туманча взял вторую жену, Ненгенек-весеннюю, молодую вдову – пусть готовит да убирает, да детишек рождает пока Гиривлакан трудится. Без обид все вышло, не ссорились женщины, не кидали друг дружке мышей в варево, сестрами стали.

Через год Ненгенек родила дочку, а затем и вторая и третья появились. Полон чум писка да визга да смеха детского. Жаль, что сыновей больше нет, ну так дело-то наживное. Молода жена и он, Туманча, не старик. И живет семья полной чашей – все мясо едят, чай с сахаром пьют, под красными одеялами спят. Туманча себе ружье охотничье справил, женам по серьгам подарил да с камушками, дочек не обидел, Мэргэну-богатырю лодку сладил, да получше той, что ему самому отец дал.

Полюбилась сыну лодка, начал он с весны до осени плавать туда-сюда, рыбу ловить, путников с берега на берег перевозить. Тревожилась Гиривлакан, мол утонет мальчишка, а Туманча бранился – не дело парню к материнскому подолу пришитым сидеть, пусть мужиком быть учится. Доучился, чего уж там. Вернулись к стойбищам купцы-немцы, и рыжий гулена с ними. Увидал мальчонку – заблажил: Джонни! Джонни, сынок! А Мэргэн к нему словно повилика к кусту липнет. Так-то неласковый рос, а чужака обнимает, «дэдди» твердит – папа по-ихнему.

Рыжий в чум сунулся: хочу дитя родное домой забрать, в свои земли заморские. Гиривлакан в плач – не желает сына отдавать, ни лаской, ни таской, ни за золото червонное. А Туманча колеблется. Неохота ему с чужими купцами спорить, да и обида взяла: он мальчика-то и кормил и поил и словом не попрекнул, а тот эвона перекинулся. Долго ли коротко ли – сговорились отцы. Таньга тут были плачены, слезы плаканы, но уехал Мэргэн с немцами. По-людски его Туманча проводил, щенка с собой дал, нож хороший. Будь, мол, счастлив, сынок!

Гиривлакан с того дня есть перестала, шить перестала. Легла у очага и лежит. Туманча ее и так и сяк шевелил, даже побить грозился. «Не жить мне без сына» твердит жена и на глазах тает. А вместе с ней и достаток семьи – ни Ненгенек ни дочери к рукоделью-то неспособны, а купцы свои ковры просят.

Почесал в затылке Туманча, повздыхал, собрал вещички да отправился на черную гору к Бабушке Огонь. Медвежьи леса прошел, топкие болота минул, а по скалам наверх лезть уже тяжеленько пришлось – чай не мальчик. Однако вскарабкался на вершину, развел костер, покормил пламя барсучьим жиром да взмолился:

- Энекан-Того, верни сына. Не жить жене без него!

Сурово посмотрела Бабушка Огонь на внука, вспыхнула искрами во все стороны, да и пропала.

Полез назад Туманча. С кручи сорвался, ногу вывихнул, еле к людям сумел выбрести. Отлеживался долго у кочевых эвенков, до целебных источников ковылял, больную лодыжку парил. Через три луны поднялся на ноги, потащился домой. А там горе горькое. Умерла Гиривлакан-то, и пяти дней не протянула, как муж уехал. Купцы за долги ружье забрали, бумажные деньги забрали, золотишко прикопанное и то доставать пришлось. Ненгенек с дочками отощали да обносились. Да еще и пузо у жены под кафтаном круглится.

Приревновал сперва Туманча, озлился, да потом по пальцам-то посчитал. Его дитя, неоткуда чужому браться. А таньга-то наживем. Обнял дочек, утешил жену, да на берег отправился лодку делать. А потом сговорился с беглым Иваном, да и сладил по осени переправу через реку. Людей-то все больше в разные стороны ходит, а

ноги мочить никому неохота – река быстрая, каменистая, утонуть в ней легко. Малую мзду каждый заплатит.

Тем временем родила Ненгенек сына – вылитый отец. Крепконогий, пытливый, сметливый, из вещиц, что в зыбку положили, самородок ручонками ухватил. Алтанаем – золотым парнем его назвали. Обрадовался Туманча. И дела-то понемногу наладились. И жизнь вроде как быстрее сделалась, день за днем, день как день.

Прежнего богатства в семье не завелось, но жили сытно, грех жаловаться. Да и работа нехлопотная – знай гоняй плот туда-сюда через реку да прибыль считай. И ружье в чуме снова появилось, и в ушах у жены золотые сережки – то заиграли. На дочек парни заглядывались – завидные невесты, и не бедные и не гордые и не балованные.

Раздобрел Туманча с годами, отяжелел, с трубочкой подружился, полюбилось ему у чума лежать да клубы дыма в небо пускать. Дочек поочередно замуж выдал за хороших людей, дедом стал, внуков баловал, то орешков им припасет, то меда, то земляники сушеной. Лодочки им из коры резал, свистульки из кости точил, забавлялся старый.

Переправой все больше молодой Алтанай занимался, таньга с нее выжимал вдвое против отцовских. Хорошо, когда есть что передать сыну. Да вот только стал замечать Туманча, что обделяют его в семье. Кусок поплоше в миску положат, чая пожиже нальют и сахаром

обнесут, вместо душистого табака вонючего самосада у купцов купят – и так сойдет старику. Одежда у него вытертые, торбаса выношенные, чашка щербатая. Терпел-терпел Туманча да и пристал к сыну – я тебе, мол, все отдал, богатство нажил, а ты родному отцу табака жалеешь? Алтанай же лишь посмеялся:

- Старый ты стал отец, бесполезный, только мясо жуешь зазря. Мать хоть еду готовит да рыбу солит, а ты небо коптишь. Радуйся, что вообще кормлю тебя и место у очага даю. Другой бы и в лес по зиме выгнал.

Онемел Туманча, не ожидал такого от сына. С женою поговорить попробовал, старуха лишь руками развела – холодное сердце у мальчика, весь в отца. Дочкам пожалился – и им тоже дряхлый отец в чуме не нужен, свои мужья есть, свои дети, полно забот. На дряхлого Туманча обиделся, ногами затопал – мне еще жить да жить! Запряг, не спросясь, олешку, взял одеяло, грибов сушеных, сигов копченых, сел в нарты, да и поехал к черной горе. Ужо вам Бабушка Огонь покажет, отучит стариков обижать.

Медведи-то зимой спят, не тронули ни старика ни олешку. Болота зимой замерзли – не потонули ни старик ни олешка. А вот как до черной горы добрались, приуныл Туманча. И летом на кручу забраться-то нелегко, а зимой по льду да по снегу никак наверх не подняться. О чем он только думал, пень трухлявый? Наломал Туманча хворосту, развел костер – вдруг Энекан-Того и отсюда его

услышит? Сел подле огня, пригорюнился, слезы на снег капаят.

Вдруг слышит старик: скрип-скрип, скрип-скрип. Чьи-то лыжи по снегу скользят, чей-то хриплый голосок напевает песенку про хитрого зайца: от совы ушел, от лисы ушел, от волка ушел, от медведя ушел, от тебя охотник и давно ускачу в чащу. Песня старая, голос знакомый, шаги все ближе... Выбежал из лесу худой старикашка, кафтан на нем траченный, шапка плешивая, а на лице улыбка ярче солнца сияет. Улгэр, брат названный, ты ли это?

Обнялись старики, поглядели как друг дружку-то жизнь пожевала, сели на нарты, выкурили по трубочке, поспрошали для приличия, хороша ли была охота, изобилен ли зимний лов. А потом и разговорились как братья. Послушал Улгэр, как родные дети обижают Туманчу, поскреб под шапкой, да и махнул рукой:

- Поезжай к нам жить, брат. Я с женой и сыновьями в дне пути чумы поставил. Парни-то куниц бьют, мы с женой шкурки выделяваем. Для тебя и теплая лежанка найдется и кусок мяса и трубка табаку.

- А тебя, брат, с такой добычей жена из чума не выгонит? – нахмурился Туманча. – Кому чужой старик нужен? Вижу, небогат ты, лишний кусок от своей доли отрезать станешь.

- Небогат, зато счастлив. Где много счастья, и поделиться не грех. Для брата всегда места хватит, - сверкнул улыбкой Улгэр. – Да и жена у меня старуха добрая, мужу слова поперек не скажет. И сыновья хороши и дочери – с такими детьми я богаче хана.

- Бабушка Огонь, значит, помогла? - завистливо спросил Туманча. – Чем она тебя одарила?

- Ничем, - пожал плечами Улгэр. – Ничего у нее не просил. Хотеть - хотел, когда леса горели, когда дети болели, когда сам в болоте тонул...

- Честно не просил? – посмотрел на брата Туманча. – Быть того не может!

- Один раз лазал на гору, - опустил взгляд Улгэр. – Просил у Бабушки Огонь еще раз с братом названным свидеться, да поиграть с ним в монгольского хана да белого царя. Помнишь, как нам весело воевалось?

Опешил Туманча. А потом понял.

Собрали братья в четыре руки большую нодью, чтоб не замерзнуть посреди леса. Нарезали фигурок из хвороста. Белые струганые - нойоны белого царя, черные – орда монгольского хана. Расставили войска, закурили трубки – и давай войну воевать.

Один другого обыграть никак не может – то Туманча монгольской конницей русского Ивана в снегах заморозит, то Улгэр схитрит и нойоны белого царя

монголов в кольцо возьмут. Азартно бьются старики – мнится им, будто сверкают в воздухе сабли, свистят стрелы, ржут кони, вздымается ханский бунчук, развевается по ветру знамя. С ясного неба луна на битву любит, звезда над головой Улгэра висит, яркая-яркая, духи лесные собрались, из-за стволов носы высовывают. И из жаркого пламени смотрит на братьев справедливая Бабушка Огонь...

Сказ об охотнике Эмемкуте и его жене-уточке

Жил у моря славный охотник, молодой Эмемкут. Моржа бил, тюленя бил, медведя белого бил, кита – и того гарпуном бил. Как слышали звери, что идет он на охоту – прятались кто куда.

Другой бы заважничал, а Эмемкут добрый был – добудет гору мяса, с соседями поделится, вдове кусок даст и сироту не обидит. Все хорошо, одно плохо – никак молодой охотник жену себе выбрать не мог. Смотрит на девушек – одну болтушкой честит, другую молчуньей, одну чистюлей, другую неряхой. Ни одна ему не хороша. Злились на охотника девушки – всякая хотела хозяйкой в богатый чум сесть. А что поделаешь?

Однажды весной убежал у Эмемкута любимый пес – подманила его коварная волчица, за собой увела. Пошел охотник искать – каждый знает, охота без собаки что чай без заварки. Шел Эмемкут, шел – и видит озерцо посреди тундры солнцем нагретое. Устал охотник, лег подремать в теньке, да проснулся от шума. Спустились с неба четыре уточки – да такие нарядные. Перья рыжие, головы черные, лапки чистым золотом сверкают.

Сбросили уточки перья, обернулись красивыми девушками и попрыгали в озеро. Плавают, плещутся как тюлени, хохочут наперебой. Смотрел Эмемкут, смотрел – и глянулась ему одна красавица. Косы черные, лицо светлое, смех звонкий, зная доброй женой будет.

Подкрался Эмемкут к рыжим перьям, схватил их да говорит:

- Не отдам я ваши наряды!

Заругались девушки, просить стали, грозить стали – они ведь был дочерями облачного хозяина, громовика Пилячуча. Придет отец, убьет тебя и семью твою убьет и собаку убьет молнией. А Эмемкут знай головой качает: не отдам!

Что делать? Солнце скоро сядет, останутся девушки навсегда людьми. Просить они стали – богатство сулили, добычу хорошую, гарпун, что никогда мимо цели не полетит, оленя, который каждую ночь воскресает. Ничего не хочет охотник. Наконец присмирели красавицы:

- Бери одну из нас в жены, а остальным перья верни! Только запомни – обругаешь ее или ударишь – никогда больше жены не увидишь!

Эмемкуту того и надо. Согласился он, отдал он трем девушкам наряды, а четвертую в свою парку закутал и в чум повел. И перья с собой унес. Приходит в стойбище, кричит:

- Мать, ставь котел, вари мясо, свадьбу играть будем. Жену я себе в тундре нашел.

Собрались соседи, начали в бубны бить, на варганах играть, песни петь – закипела веселая свадьба. Так и

зажили – Эмемкут на охоту ходит, мясо приносит, жена варит да вялит, песни поет да чаек мужу подносит, когда он усталый с промысла возвращается. Парку ему мехом расшила, пояс и ножны жемчугами отделила. Старая мать на невестушку не нарадуется. А вот девушки стойбища ой как на нее разозлились. Им, красавицам да разумницам, предпочел охотник чужачку безродную! И задумали они недоброе.

Пришли как-то в чум:

- Выходи, молодая жена, петь да играть с девушками! Хотим мы тебя получше узнать.

Уточка-то и вышла. Закружили ее девушки в хороводе, стали песни веселые петь. А потом и говорят:

- Плохо ты, красавица, мужа своего ублажаешь. Болотной воды ему не подаешь, жареной жабой не потчешь, мхом оленьим трубку не набиваешь! Гляди, разлюбит тебя!

Уточка-то и подумала, что у нижних людей так принято. На облаках в чуме у Пилячуча-то один снег едят да росой запивают. Сходила в тундру, набрала воды из болота, надергала с кочек мха, поймала жабу да зажарила на веточке как оленину. Старая мать поглядела, покачала головой, а спрашивать не стала – мало ли что молодые себе удумают.

Вернулся Эмемкут с промысла, выходит к нему жена и подает кружку:

- Испей, муженек!

Тот глотнул – а в воде ряска да черви!

Жена ему:

- Отведай, муженек!

Попробовал стряпню Эмемкут и давай плевать – и горько и тошно.

Жена трубку подносит:

- Покури, муженек!

Вдохнул Эмемкут едкого дыма, аж дыхание перехватило. Не сдержался он, заругался на жену, закричал, кулаком на нее замахнулся. Девушки, что подглядывали, захихикали – так ей, нечего наших парней уводить! Ничего не сказала уточка.

Проснулся поутру Эмемкут, зовет жену:

- Чай давай, мясо давай!

А в ответ ему мать плачет:

- Нету больше нашей уточки-раскрасавицы! Поднялась она на рассвете, взяла свои перышки, дождалась когда птичья стая над чумом промчится – да улетела куда глаза глядят.

Озлился Эмемкут, а потом вспомнил – зарекался он на жену браниться да руку на нее подымать. Посмурнел, начал себя корить. А потом собрался в дорогу:

- Пойду я, мать, к Пилячучу-громовику, заберу назад свою жену!

Мать в слезы:

- Не ходи, убьет тебя громовик! Чум его белые медведи стерегут, белые совы оберегают, сам Пилячуч свиреп как десять китов – как почует чужого, так молнией и швыряется.

- Все равно пойду!

Дала ему мать с собой отцов гарпун, дедов нож да свое благословение. Запряг Эмемкут нарты и поехал до края земли. Долго ехал – мимо скал, мимо болот, мимо соленых озер и оленьих пастбищ. Доехал до Черных гор – зимой и летом они белым снегом покрыты, а верхушки черным пеплом присыпаны, словно собачьи носы. А на самой высокой вершине в облачном чуме живет громовик Пилячуч и его красавицы-дочери.

Оттуда Пилячуч посылает молнии, плюется огнем и грозит громом, оттуда карает всех, кто живет не по совести. Там, в долине, где зимой и летом бьют горячие ключи и растут тайные травы, останавливаются птичьи стаи передохнуть перед долгой дорогой. Там вдали от охотников бродит сказочный зверь-гора – носом траву рвет, зубами длинными волков отгоняет. Там танцуют облачные люди при свете звериного солнышка и стучат в бубны на полнолуние – вызывают смелых нижних людей

поплясать с ними. Много чудес в Черных горах – но не до них Эмемкуту – все мысли о любимой жене.

Оставил он собак охранять нарты и пошел в горы. По тропам подымается, по камням карабкается, на скальные стены лезет – эть! Эть! Волки на него выть стали – достал Эмемкут берестяной рожок и китом на них заревел, только серых и видели. Лед мокрый под ноги кинулся – взял охотник дедовский ножик да ступеньки проковырял. А вот как зверь-гору увидел – так и обомлел.

Спина у зверя – во! Уши – во! Ножищи – во, как наступит, так и раздавит! Зубищи – уxxx! Продашь один такой русским купцам и год заботы знать не будешь. Ударить бы отцовским гарпуном, разделать тушу и до скончания дней хвастаться, что за редкую добычу домой принес!

Ходит зверь-гора по пустоши, снег топчет да орет нечеловеческим голосом. А из глазок по длинной шерсти слезы катятся. Поглядел на него Эмемкут – да и пожалел бедолагу.

- Кто тебя обидел, зверь-гора?

Помотал зверь мохнатой головой – никто, мол, не обидел.

- Кто тебя обобрал, зверь-гора?

Помотал зверь головой – ничего не отняли.

- Больно тебе, зверь-гора?

Закивал зверь и пасть разинул. А у него между зубами ветка с листьями застряла, длинная да острая. Взялся Эмемкут за ветку, потянул раз – не вытянул, потянул два – не вытянул, на третий рванулся, чуть вниз не свалился – достал занозу. Заревел зверь-гора, ногами затопотал – обрадовался, легче ему, неуклюжему, стало. Похлопал его Эмемкут по бурому носу и дальше полез.

Увидал урочище с теплыми ключами – вода из земли течет, булькает, пахнет тухлятиной, а вокруг птиц видимо-невидимо. Вывалялся в черной грязи Эмемкут, извалялся в перьях – и не поймешь сразу, что за чудище. А чтобы запаха человеческого не осталось – китовым жиром помазался, от него и песцы нос воротят.

Вот и чум громовика Пилячуча показался. Сторожат его белые медведи, сидят на шестах белые совы – кто чужой придет, разорвут в клочья. И человека порвут, и зверя порвут... а тут невесть что заявилось, не зверь не птица, на обед не годится. Липучее, вонючее, оручее – пусти да пусти к громовику, дело мол есть! Переглянулись сторожа да и пустили – мало ли что за дух из нижнего мира явился.

Зашел Эмемкут в чум, а там Пилячуч сидит – грозный, страшный. Дым пускает, огнем плюется, молниями грозится. Раз – и убьет, даже косточек не оставит.

- Кто это ко мне пожаловал? Друг или враг или захожий дурак? Кит горбатый, лось сохатый, глухарь зобатый или шаман бесноватый? Скажешь правду – не больно убью!

Эмемкут громовику в ноги кинулся:

- Зять твой непутевый явился, у жены-уточки прощения попросить.

Посмотрел на него Пилячуч, нахмурился недобро. Бровью повел – гром прогремел, рукой махнул – молния ударила. Эмемкут и глазом не моргнул.

- Смелый зять, как такого не взять? Позову сейчас дочек, каждая как цветочек, узнаешь свою – сам на свадьбе спую!

Бахнул Пилячуч молнией и встали перед ним девушки, одинаковые как ягодки. По земле плывут утицами, песню поют соловушками, улыбаются – словно звезды мерцают. Смотрит Эмемкут, смотрит – да и видит, что у одной девицы на шее красные бусы. Сам он эти бусы у русских сменял, сам любимой жене подарил.

- Вот моя уточка, раскрасавица! Прости, жена, слова грубого тебе не скажу больше! Пойдем домой!

Посмотрела на него жена-уточка, головой покачала.

- Будешь на дорогих мехах отдыхать, свежее мясо каждый день есть, черный чай пить с белым сахаром! Пойдем домой!

Посмотрела на него жена-уточка, головой покачала.

Тогда достал Эмемкут варган и давай играть весеннюю песню. Как просыпается земля в тундре, как цветы-жарки

к солнцу тянутся и гусиные стаи летят на север вить гнезда. И облачные люди пляшут в рассветных тучах, посылают на землю счастливый дождь, чтобы звери плодились и женщины здоровых детей рожали. И встает поутру радуга над стойбищем – один конец в сопки, другой в море. Если пройти под радугой жениху и невесте – никогда они не расстанутся, любить друг друга будут до самой смерти. А когда умрут – души друг друга снова искать отправятся, потому что нет беды горче, чем любимого потерять навсегда...

Заплакали тут девицы-красавицы, зарыдал громовик Пилячуч, даже медведи-стражи и те заревели, пасти разинув. Подошла жена-уточка к Эмемкуту, обняла его и простила.

Обрадовался громовик:

- Доброе дело! Внуки, значит, у меня будут, породнимся с людьми. Оставайся у нас, Эмемкут, сыграем завтра свадьбу с облачными людьми, одарю тебя щедро и отпущу домой.

Топнул громовик ногой, превратились грязь да перья в дорогие меха, красавцем стал охотник – глаз не отвести! Сели все пировать да праздновать. Не понравилось Эмемкуту пустой снег жевать, да росой запивать, но виду не подал. Последнее дело тестя обидеть. А как легли спать, подкатилась жена к Эмемкуту, да шепнула ему на ухо:

- Муж, милый муж! Бежать надо! Проснется поутру Пилячуч, поднесет тебе чаю. Да не чай у него в кружке будет, а мухоморовая вода. Выпьешь ее – навсегда позабудешь, где родился, где жил. Станешь облачным человеком.

Поднялся тихо Эмемкут, прокрался к выходу из чума, жену-уточку за собой потянул. А как стал отцов гарпун забирать – большой котел уронил. Грохот пошел – куда там грому. Проснулся Пилячуч, заругался стал молниями швыряться. Еле-еле Эмемкут с женой улизнули. Бегут они вниз с горы, а за ними белые медведи гонятся, белые совы летят, старый громовик бежит, земля у него под ногами трясется.

Добежали до зверь-горы.

- Ай, помоги скорее! Не то съедят нас медведи, разорвут совы.

Зверь-гору травой не корми, дай носом помахать. Пошел он на белых медведей – ногами топчет, трубит, фырчит – ай, страшно. Порычали медведи, посердились – да и разбежались в разные стороны. Пошел он на белых сов – дунул на одну, улетела к звериному солнышку, дунул на другую – улетела к звездной реке. Посмотрите летней ночью – вон клювастая голова на луне виднеется, и белые крылья над звездной рекой колышутся.

Вот только с громовиком не совладал зверь-гора – увидел, как молнии сверкают, услышал как гром гремит,

да и убежал восвояси, спрятался в земляную яму. Больше охотники таких зверей не встречали, одни клыки из кочек по сей день торчат.

Погнался Пилячуч за дочкой и зятем дальше – а те уже с горы спустились, на нарты сели, собак погнали, да и поехали прочь. День скачут, ночь скачут, собаки уже из сил выбиваются. Вот и чум родной впереди. Спрыгнул Эмемкут с нарт, взял с собой отцов гарпун да дедов нож, крикнул жене, чтобы домой ехала. И остался драться с громовиком.

Ох и страшно тут было, ох и громко, ох и жарко! Скачет большой громовик за человеком, то посохом огненным его лупит, то молниями швыряется, то плюется чистым пламенем. А Эмемкут знай уворачивается. Думал – гарпуном старика пробить, словно кита, хотел – ножом резать, как глупого тюленя. А рука не подымалась – чай не дикий зверь, не свирепый враг, а отец любимой жены-уточки.

Бились они день, бились ночь, всех зверей распугали, всех собак растревожили. Устал наконец сердитый Пилячуч, сел наземь, тяжело дышит. Тут бы и дать по затылку облачному старику, да не таков Эмемкут. Натопил в котелке снега, заварил чая с сахаром, да с поклоном тестю поднес. Попробовал Пилячуч и языком прищелкнул:

- Ай вкусно, ай сладко! Никогда такого вкусного не пивал.

Выпил старик котел чая, второй запросил, выпил второй – третий выхлебал. И подобрел от сладости. Простил громовик зятя и дочку свою тоже простил. Наказал только раз в году к нему в гости на Черную гору ездить – внуков показывать, да чай с сахаром привозить в подарок. И распрощался.

Дома старуха-мать рада-радешенька, приветила сына с женой, мяса наварила, шкуры постелила. Зажил охотник с семьей счастливее прежнего. Никогда больше он жену не ругал, никогда кулаком не грозился. А если станет ворчать жена – даже облачные красавицы недовольны бывают, мало мол мяса принес или шкуры дырявые – брал варган да играл своей уточке весеннюю песню. И любовь возвращалась в их теплый чум!

Сказ о матери

Жила-была в прибрежном стойбище женщина Агай. И красивой она уродилась и умной, от работы не бегала, плохого о людях не говорила. Одна беда – приносила Агай несчастье своим мужьям.

Еще девчонкой голенастой была, прилетел к ней кулик Дэрэн и сказал: иди, Агай, ко мне в жены, построю тебе гнездо на болоте, песни петь стану. Добро бы просто отказала девчонка или к родителям свататься послала – насмеялась над куликом, мал, мол, да тонконог, куда такому жена. Обозлился кулик, клюнул ее в лоб и проклял.

Пришло время, выросла Агай, сосватали ее за Аяса, молодого охотника. Сговорились родители, начали играть свадьбу, стал жених плясать, споткнулся о копьё – да и свернул себе шею.

Поплакала Агай, посокрушались родители – и нашли ей второго мужа, резчика по кости Дулгэ. Сыграли свадьбу, тут бы и зажить хорошо, да пришли нойоны Иваны и забрали Дулгэ в город, резать шкатулку в подарок Маме-Царице. Пропал муж, уехал далеко в Петров Бор, да и не вернулся больше.

Отец Агай даже в соседнее стойбище ездил за парнем – никто на Агай жениться не хочет, говорят, порченная она. Две зимы миновало – нашелся смельчак Колай, пришлый охотник на моржей. Веселый был, сильный, любил жену, баловал, сказки рассказывал. Счастлива Агай сделалась,

словно девушка по утрам пела, по вечерам у огня плясала. Да недолго длилось то счастье. Пошли охотники на промысел и Колай с ними. Вернулись снега белей – говорят, вылезла из промоины женщина-морж, назвала Колая дорогим мужем, да и утащила в воду.

Отчаялась Агай. В самую белую ночь ушла она в тундру, зажгла костер, разделась догола и давай по мху кататься. А потом села в бубен стучать и плакать:

- Духи небесные, духи земные, не могу я так больше жить. Если мужа мне не суждено иметь, хоть ребеночка мне пошлите.

Ничего ей не ответили духи, зря Агай раздевалась, тело белое мошке на съедение выставила. Поплелась она домой, видит – птичье гнездо, в нем одно яичко, голубое да в крапинку. Съела его Агай - и затяжелела с того же дня. У орочонов не зазорно, если женщина без мужа рожает. А вот поднять малыша женщине в одиночку ой нелегко!

В положенный срок разрешилась Агай мальчиком. Заахала повитуха – никогда, мол, не видела такого крепкого малыша. И вправду Чекчэне-птенчик уродился на славу. К лету сел, к осени бегать начал, к зиме заговорил да разумнее иных взрослых. Еще спотыкался, порог переступая, а уже матери помочь спешил – Агай рыбу ловит, Чекчэне разделявает, Агай летнего гуся добудет, Чекчэне перья выщиплет. А как сядут ужинать у костра, смешит мать – то оленя костяные рога покажет,

то жадного купца передразнит, то болотным куликом засвистит. Улыбались люди, глядя на Чекчэне, говорили: большим человеком станет. И лишь шаман отмалчивался да головой качал.

Шесть зим прожил на свете Чекчэне, шесть лет мать радовал. А на седьмую осень отпросился с мальчишками на моржей посмотреть, поглазеть как задиры клыкастые хэкают да рычат друг на друга. Все хорошо, вот только перевернулась лодочка и промокли до костей парни. Вернулся домой Чекчэне, белый-белый, зуб на зуб не попадает.

Заахала Агай, захопотала, тюленьим жиром сына растерла, кровяным супом напоила, волчьей шкурой укрыла. А мальчишке все хуже. Жар его мучит, лихорадка бьет, грудь от кашля разрывается. Побежала Агай к шаману – а тот только глянул сердито и камлать отказался. Не жилец мол твой сын. Поспешила домой мать – глядь, а из чума белая куропатка вылетела...

Все знают – если ребенок умер, не успев повзрослеть, то его душа превращается в птицу. И летит на закат через тундру к реке, что делит Средний и Нижний миры. Там на зеленых лугах щиплет травку Казарка-Хозяйка, бабушка всех на свете птиц. Принимает она безвинную душу, оставляет дитя до поры в своем царстве. Пусть купается в быстрых ручьях, собирает пестрые ракушки, дремлет в гнезде из мха, а зимними ночами играет на небе в мяч, чтобы родители видели и не грустили, не оплакивали утрату. Как отплачут свое отец с матерью, пошлет

Казарка-Хозяйка безвинную душу в тело веселой птахи забывает прежнюю жизнь. А потом дитя у новой матери в тундре родится.

Таков порядок жизни испокон веку. А глупая Агай взбунтовалась – понеслась за птицей следом, зовет:

- Чекчэне, Чекчэне, вернись к маме!

Летит куропатка вперед, голову не поворачивает. А мать следом торопится. День бежала, не выдержала, легла спать. Проснулась поутру – ни следа куропатки. Только олень костяные рога по тундре бродит, мох копытом колотит.

- Батюшка олень, не видал ли ты белой куропатки, куда она полетела?

- А что ты мне дашь, если скажу?

- Волосы дам, длинные да черные. Соткет жена из них одеяло, будешь зимой греться.

Согласился олень, забрал волосы Агай и показал – туда, мол, на запад полетела куропатка. Побежала мать дальше. Едва увидела белые перья, как метель поднялась – не то что птицу, руку свою не разглядишь. Выкопала Агай нору в снегу, села пережидать. Чует – в нору кто-то теплый лезет. Глянула – а там песок белые бока.

- Братец песок, не видал ли ты белой куропатки, где она от метели прячется?

А что ты мне дашь если скажу?

- Силу рук своих отдам да крепкую спину. Богатур станешь, никакой волк не посмеет зубы на тебя скалить.

Согласился песец. Вылез из норы, покрутил носом, да и позвал Агай за собой. Виден бугорок снежный и дырочка сбоку, словно нерпа продышала. Тронул песец бугорок носом, куропатка оттуда – шурррх! И дальше на закат полетела. А мать следом бежит.

И вдруг ахнула, ёкнуло материнское сердце. Сидит на камнях белая сова, глазами крутит, клювом щелкает. А в когтях у нее куропатка бьется.

- Сестрица сова, отпусти моего Чекчэне, не губи зря!

- А что ты мне дашь, если отпущу?

- Молодость свою дам да красоту в придачу. Во всей тундре не сыщешь совы красивей тебя.

Разжала сова когти, полетела дальше белая куропатка. А мать за ней ковыляет следом, еле ноги переставляет – старость не радость. Умаялась быстро Агай, наломала хворосту, присела отдохнуть у огня. Кипяточку бы хлебнуть, глядишь и сил прибавится, а там и до земель Казарки-Хозяйки рукой подать.

Вдруг откуда ни возьмись подходит к огню старушонка низенькая да сгорбленная, в лохмотья одетая. Кто ж это почтенную бабушку одну на мороз выпустил? Ай-яй!

- Подходи к огню, бабушка, погрейся да отдохни. Угостить, не обессудь, нечем.

Усадила Агай старушонку, надела ей на руки свои рукавицы, на голову теплую шапку. Добыла последний табачок из кисета, набила трубку да поднесла – от дыма и голод слабеет. Улыбнулась в ответ старушка.

- Спасибо за доброту, матушка Агай! А что угостить нечем – то не беда.

Махнула Бабушка Огонь правой рукой – и на снегу блюда с яствами появились, ешь не хочу, хоть олений язык, хоть медвежью лапу. Махнула левой рукой – и кувшины с молоком из сугроба выросли. Хлопнула в ладоши – теплый чум над ними встал. Хотела Агай к бабушке в ноги броситься, да Энекан-Того не дала.

- Знаю я про твою беду и сына вернуть не в моей власти. Но помочь помогу. Вот тебе, Агай, волшебная клетка из ивовых прутьев. Как отыщешь куропатку – открывай дверцу и зови «Чекчэне, Чекчэне, ступай зерна клевать». Если птичка влетит в клетку, то до самого дома не вылетит. А как в чум вернешься, увидишь сына – открой дверцу. И оживет твой Чекчэне.

- А где мне найти зеленые луга Казарки-Хозяйки?

Достала Энекан-Того из капюшона серую мышку.

- Иди за мышкой, Агай, да смотри не отставай. Приведет она тебя куда надо.

- А как я узнаю сына? У Казарки-Хозяйки небось полным-полно куропаток. И отпустит ли она его домой к матери?

Не ответила Бабушка Огонь. Вспыхнуло пламя, повалил дым, а как рассеялся – нет никого у костра. Заторопилась за мышкой Агай, изо всех сил старыми ногами переступает. Думала снова день идти да ночь брести, но вскоре повеяло сладким теплом. Пропали снега, утих ветер, легла впереди зеленая страна с лугами и ручейками, реками и легкими облаками. И птиц там видимо-невидимо – крачки и кулики, куропатки и трясогузки, лебедята с серыми перьями и черные воронята. Налетели на Агай, кричат наперебой, а ей слышится «Мама! Мама!». Как отгонишь, как отмахнешься?

Без разбора гладит Агай теплые перья: ах, вы маленькие, ах, вы миленькие! И вдруг – шуррх! – разлетелись птицы. Идет к матери Казарка-Хозяйка, толстая да грозная. Перья у нее серебряные, лапки золотые, клюв из красной меди.

- Зачем ты, глупая женщина, в мою страну пришла? Зачем моих птиц тревожишь, души им бередишь?

Поклонилась Агай до земли Казарке-Хозяйке:

- Сын единственный у меня умер до срока. Верни мне его, что хочешь тебе отдам, как смогу отслужу!

- Думаешь, ты первая сюда пришла? Как бы не так! Ходят сюда матери, в ногах валяются, все сокровища мира

сулят – верни сына, верни дочь! Если я всех отпустить начну – кто на земле умрет, кто жить дальше отправится?

- Мой Чекчэне особенный! Самый умный, самый веселый, самый заботливый! И отец у него – птичьего рода!

Рассказала Агай, как понесла от пестрого яичка. Зацокала клювом Казарка-Хозяйка:

- Ну раз так, пойдем со мной, поглядим, что за птица твой сын, что за жизнь его на земле ждала.

Пришли они к гладкому озерцу с темной водой. Топнула лапой Казарка-Хозяйка – гляди, мать! И расступилась вода.

Увидела, Агай, как растет ее Чекчэне, как взрослеет, мужчиной становится, веселым, честным да храбрым. Охотится на моржей и китов, режет амулеты из кости, делает гарпуны. Красавицу жену себе берет, и вторую следом, обе детей рожают да сплошь сыновей – в богатом чуме места на всех хватит. Уважают его сородичи, выхваляют, вождем над собой ставят. Правит Чекчэне родом долгие годы, оберегает род, на охоту водит, пляшет танец кита и танец медведя по осени у костров. Дети ему внуков приводят, даже правнуков Чекчэне успевают застать. И уходит в верхний мир древним старцем, мирно и непостыдно.

Топнула другой лапой Казарка-Хозяйка, переменилась вода.

Увидала Агай, как растет ее Чекчэне гордым да непокорным парнем, в драки лезет и сородичей побивает. Как девушек обижает и жениться на них не спешит, стариков за бороды дергает и матери родной кулаком грозит. Как собираются вокруг него парни, жадные до богатства и славы. И ведет их молодой вождь Чекчэне воевать соседние земли. Побеждают храбрые воины, жгут чумы, режут оленей, уводят в плен женщин и малых детей. Кровь и слезы тянутся за ее мальчиком по всей тундре. А потом приходят на побережье злые камчадалы с железными ружьями. Выбивают род, от стариков до младенцев. А вождя Чекчэне берут в плен и такое с ним делают, что и камни бы зарыдали. Умирает от пыток сын – а значит не видать ему верхнего мира и новой жизни, станет голодным духом людей по ночам тревожить.

- Видишь, мать! – говорит Казарка-Хозяйка. – Или добрая судьба ждет твоего Чекчэне или такая злая, что и подумать страшно. Все еще хочешь его забрать?

Заплакала Агай – мыслимо ли дитя на муки обречь? А потом утерла слезы и запела. Все матери в стойбище укачивали малышей колыбельной про серого гуся:

Гуси-гуси, вы куда?
Одолели холода.
Полетим к чужой земле,
Кушать сладко, жить в тепле.

Гуси-гуси, вам светло?
А у нас белым-бело.

И медведь храпит в снегу
И тюлени ни гу-гу!

По весне сойдут снега -
На озерах га-га-га!
Серый гусь летит домой.
Засыпай, гусенок мой!

Закрылись глаза у Казарки-Хозяйки, улеглась она на зеленую траву и заснула. Поглядела на нее Агай, вспомнила две судьбы, смахнула две слезинки...

И пошла по лугам выкликать: Чекчэне, Чекчэне, ступай зерна клевать! Налетели разные птицы – серые, белые, пестрые. Каждая норовит в клетку забраться, волшебное зерно склюнуть. Обливается кровью материнское сердце, а делать нечего – права Казарка-Хозяйка, если люди умирать перестанут, то и жить дальше не будут. Отчаялась уже Агай – нигде нет сына, нейдет на зов. Позвала в последний раз: Чекчэне! Прилетела белая куропатка – да не в клетку сперва, а к матери на плечо, клювом о щеку потереться. Обрадовалась Агай... а за ивовыми прутьями уже другая птичка сидит, синица шустрая. Хотела мать ее выгнать, да рука не поднялась. Забрала обеих. И пошла себе с богом, прочь от теплых земель, зеленых лугов.

Идет мать, торопится изо всех сил – путь нелегкий, путь долгий. А ну как Казарка-Хозяйка погоню за ней отправит. Слышит Агай – шумят крылья, щелкают клювы. Глядит – летят за ней злые морские чайки, хотят сына

отнять. Побежала она по снегу, а погоня все ближе. Видит – белая сова на камнях сидит.

- Сестрица сова, спрячь меня!

Распахнула белая сова крылья, закутала женщину. Налетели злые морские чайки, клювами щелкают, орут в три горла, а ничего сделать не могут. Убрались они несолоно хлебавши, выбралась Агай, поклонилась сове и побрела дальше. Глядь – а ноги-то снова ходят как молодые и кровь быстрее по жилам бежит. Если рядом родное дитя, мать всегда молодеет.

Долго ли, коротко ли – снова захлопали крылья. Лебеди-шипуны летят, отнять сына хотят! Побежала Агай, видит песец сидит, кость грызет.

- Братец песец, спрячь меня!

Накидал песец лапами снега, закопал Агай в сугроб и сам сверху уселся. Распушился, зубы оскалил – поди подступись! Покружили-покружили лебеди – да полетели назад. Поклонилась Агай песцу и побрела дальше. Глядь, а спина-то снова ровная и в руках сила есть. Если рядом родное дитя, мать любую беду сдюжит.

Вот уже и родные края показались, узнает Агай сопки, скалы да сосны кривые. Еще немного и стойбище. Вдруг снова захлопали крылья, клетот свирепый раздался. Летит следом сама Казарка-Хозяйка, злая как сто касаток, крыльями бьет, глазами сверкает – страх! Побежала Агай из последних сил, задыхается, клетку держит крепко-

крепко. Белая куропатка смиренно сидит, синица прижалась к ней да попискивает. Видит мать – олень костяные рога по тундре бродит, снег копытом ковыряет.

- Батюшка-олень, спрячь меня!

Набычился олень, костяные рога вперед выставил и пошел на Казарку-Хозяйку, грозный-прегрозный. Ахнула Агай – а ну как подерутся, зашибут хозяйку, кто тогда за безвинными душами приглядывать станет? Ан нет, постояли олень да казарка, поглядели друг на друга и разошлись кто куда. Потряс олень седой бородой, фыркнул, да и стукнул Агай рогом по лбу. Не больно ударил, да только забыла мать дорогу к зеленым лугам, сколько ни спрашивали потом, не могла вспомнить. После лег олень на снег, спину подставил – забирайтесь, мол. Села Агай и доехала до самого стойбища. Глядь – а волосы у нее отросли, гуще прежних, только седыми сделались. Если мать о дитяти наплакалась, седина навсегда останется. Вот и чум родной... а сына-то нет!

Завернули ее мальчика в шкуры, отнесли в скалы, да и оставили на снегу. Побежала туда Агай – а ну как песцы найдут Чекчэне или медведь его съест. Отыскала, наконец, ножом шкуры мерзлые разрезола, открыла клетку – разлетелись две птички в разные стороны. Села белая куропатка на грудь мальчику, да и исчезла, как не было. А Чекчэне глаза открыл. Обнимает его мать, гладит – живехонек сын!

Вернулись они в чум, сварили мяса, сделали чаю. И тут поднимается полог, вбегает соседка – и давай у Агай в ногах валяться, благодарить. Дочка ее, Лигири-Синичка, косточкой подавилась, мало-мало помирать собралась, шаман сказал – не жилица. Уже свежих шкур достали, чтобы похоронить – а тут прилетела синичка села дочке на грудь и открыла глаза девочка, есть запросила. Радость-то какая!

Зажила Агай с сыном как прежде, даже лучше прежнего. Из дальних стойбищ приезжали посмотреть на мальчика, который ожил. Подарки приносили, по хозяйству помогали, в гости зазывали – каждому ясно, что удача за таким следом ходит. Другой бы загордился, а Чекчэне знай смеялся. Поглядывала за сыном Агай, а ну как и правда станет злодеем, погубит род. Но парень и оленя не мог зарезать. Подрос, в ученики к кузнецу подался, стал ножи ковать, котлы делать, а забавы ради – колокольчики для оленей. Да такие веселые колокольцы у него выходили, так звонко пели, что любая дорога короче покажется.

В свой черед женился он на Синичке – ходил-ходил за нею, смешил-смешил, да и уговорил. Мать сперва возражала, и род-то у нее бедный и братья пьяницы. Но Чекчэне уперся – или она или никакой жены мне не надо! Что ж, сыграли свадьбу, зажили не хуже людей. Великим вождем, понятно, Чекчэне не стал, но и к гибели род не привел – по сей день по тундре внуки его внуков кочуют.

Всем хорошо стало, одному шаману плохо. Злился-злился он – как так можно поперек судьбы ходить, с духами спорить? Камлал-камлал, гадал-гадал, курил-курил, в бубен стучал – да и запропал невесть куда. Не иначе судьба его увела. А куда – одно звериное солнышко знает. Как увидите на луне совиную голову, острый клюв да пышные перья, так и спросите. Может сова ответит...

Сказ о звезде

Жила-была в стойбище орочонов с реки Унтуун девочка Илик – подобная звезде. Так назвали ее родители – и за то, что пришла на свет долгой ночью и за то, что была красива с первого дня рождения. Волосы густые как мох и черные как болотная грязь, глаза, сияющие словно маленькие озера, улыбчивый алый рот – с рождения малышка умела смеяться, да так заливисто, что братья и сестры вместе с ней хохотали. Как встала она на резвые ножки, так и забегала повсюду, как говорить научилась – слышали от нее только хорошее.

Любили Илик и мать и отец и братья матери и все в стойбище, даже вечно голодные псы и злой ворон одноглазой шаманки. Другая бы загордилась, забаловалась, от работы бы стала отлынивать, сестер обижать – мол я звездой свечу, а вы искорками едва вспыхиваете. А Илик никому не причиняла зла. Матери помогала, отца встречала, мокрый кафтан выносила сушить и мокрые унты снимала с ног, не гнушалась, не морщилась. Если кто заболел в чуме – сидела с больным, обтирала, отпаивала, дымом окуривала, просила помощи у Энекан-Того. Мать думала, вдруг Илик кухлянку наденет, бубен возьмет да людей лечить станет, но шаманка посмотрела девчонку и отказала – нет у нее силы и дара нет. Только доброе сердце.

Чистую правду сказала старуха. Не было у Илик ни к чему особенного таланта – шила и вышивала как все девчонки, ягод или грибов приносила не больше других, танцевать

у костров не любила и пела тихим голосом, словно маленькая трясогузка. И не завидовала, если подружка ловчей кружилась или быстрее шуровала иглой. Была у Илик своя тайна.

Она помнила, что родилась долгой ночью. И если тучи, беременные буранами, не накрывали небо от края до края, уходила Илик из стойбища, залезала на занесенную снегом скалу Медведицы. И смотрела на запад. А там на исходе ночи поднималась голубая звезда и светила для девочки – лишь для нее одной. Чудилось Илик, что в краю ее небесной подруги луга полны душистых цветов и легкокрылых бабочек, что порхают там звонкоголосые птицы, олени подходят к человеку без страха и сам воздух полон чудес. Надо только добраться, пройти через белые просторы, через дикие леса и вздыбленный лед пролива. Оставить чум, забыть родных, покинуть стойбище – и поспешить за звездой.

Небесная подруга протягивала к девочке голубые лучи... А в чуме ждала усталая мать и маленькие сестренки, и братья вечером притащили из проруби добрый улов. Надо почистить рыбу, разложить ее над огнем, подложить в пламя душистых трав, присыпать каплющие жиром тушки морской солью. До звезд ли тут?

Возвращалась Илик в стойбище, умывалась снегом и принималась за работу. Напевала тихонько про оленя серебряные рога или про веселых рыбок в весеннем озере – и чистила рыбу, штопала кафтаны, разминала

сырые кожи. И выросла понемногу, наливалась красой, как ягодка соком.

Пришло время, надела Илик расшитый нагрудник, заплела волосы в косы и стала ждать своего счастья. Много молодых охотников заглядывалось на девушку, многие приносили дары отцу и братьям, передавали для красавицы лисьи шкурки и самоцветные бусы. Всякому хотелось взять в чум такую жену. Илик глянулся смешливый паренек, веснушчатый Туктуни – и охотник не из последних и норов легкий и голос звонкий. Но родители решили иначе – выдали дочь за богатыря Иркуна. Не мальчишка уже, зрелый муж – рослый, крепкий, оленя за рога удержит, волка ножом уложит, нойонам белого царя до земли не кланяется. Щедрые дары принес за невесту, ни мехов ни пожалел, ни табаку, ни сахару, лодку новую дал и весла при ней. А что угрюм да неразговорчив – мужчина, не куропатка трескучая. Решили свадьбу весной сыграть.

В долгую ночь выбралась Илик из стойбища, забралась на скалу, села звезду ждать. Сидит и слезы глотает – не по нраву ей жених, не лежит к нему сердце. А голубые лучи зовут, манят – ступай вперед и будет тебе счастье! Мало ли, что отец опозорен останется и мать глаза проплачет, зато в волшебной стране по цветущим лугам пробежишь, сладкой воды из небесных ручьев напьешься... Утерла слезы Илик, вздохнула глубоко и пошла себе к чуму. Да и столкнулась на краю стойбища с Туктуни – на веселом парне лица нет, отошал,

побледнел. Жить, говорит, без тебя не могу, клюковка ты моя румяная, синичка перезвончатая!

Долго бушевал Иркун, долго злился, долго грозился скормить мальчишку своим собакам, но смирился, согласился взять в жены Дулгулану, младшую сестру горе-невесты. Только созрела девушка, но ни красотой, ни крепкой спиной не обделили ее духи. Илик с Туктуни до осени в родном стойбище не показывались, рыбой да дичью по берегам промышляли, вернулись лишь, когда у молодой жены пузо на нос полезло.

Родила Илик сына, следом второго, а там и третий подospel и дочку в короб уложили. Первые годы жили они с Туктуни хорошо, веселый муж жене скучать не давал, и добытчиком оказался славным и хозяином неплохим. Да только отправился он по осени в лес, поднялась буря, выворотила сосну, а дерево перебило Туктуни обе ноги. Еле-еле дополз до людей. Другой бы помер, а Илик своего мужа выходила, вымолила, на ноги поставила. Стал Туктуни ковылять по стойбищу с клюкой, на всех грозиться, на всех браниться. Охотиться больше не мог, пришлось ремесло брать. Начал упряжь делать для оленей, седла, кнуты, бурдюки и сумы переметные из ровдуги шить – жить-то надо. Обеднел, оскудел, а родня не особенно помогала – злились, что невесту украл, хороших людей обидел.

Билась Илик как могла, пласталась как проклятая. Младшего сына бездетной сестре в чум отвела – Дулгулане с Иркуном духи детей не дали. Старшего,

даром что семи зим не минуло, рыбу ловить научила с берега – мало-мало, а есть можно. Летом гусей линияющих палками била и мясо коптила в дыму, оленуху увечную подобрала, выходила и доить стала, дочку поить да больного мужа. От такой жизни раньше срока увяла – морщины румяное лицо тронули, волосы поредели, алый рот потускнел. Не оборачивались больше мужчины, когда Илик проходила по стойбищу. А ей ништо – лишь бы семью вытащить, да детей прокормить.

Не до звезд ей стало, не до волшебной страны. Лишь однажды, в нелегкий год, когда от непосильного труда кровавые мозоли не сходили с пальцев, выбралась Илик на скалу Медведицы, полюбоваться голубой звездой. Пусть засияет небесная подруга, напомнит о чудной стране с цветущими лугами... Да только так устала женщина, что задремала прямо на голых камнях, и звезду проспала и сама чуть не замерзла

Год шел за годом, дети росли, Илик старела. У Туктуни дела в гору пошли, научился он хорошие седла шить да кнуты сыромятные делать, прочные как железо. Довольство пришло в чум, залоснились у детей губы от жирного мяса, и сама Илик разрумянилась. А хромец Туктуни, недолго думая, взял молодую жену в чум – на всех еды хватит.

Поплакала Илик, повздыхала, а что поделаешь? Такой обычай – молодые рожают, старых матушек уважают. Робкая Агияна не перечила старой жене, во всем угождала мужу, не обделяла детей. Вот только старший

сын Илик, могучий Иркинай-олень, стал заглядываться на красавицу. Пришлось женить парня, отдавать в другое стойбище. А там и дочка мужа нашла, и молодая жена Туктунни пошла рожать, да легко словно оленуха. Не умолкали в чуме детские голоса.

В хлопотах протекали дни Илик, в беспокойных снах убежали ночи. Отправилась она по осени за грибами, пить захотела, наклонилась к ручью и не узнала себя. Что за сморщенная старуха улыбается ей усмешкой прежней Илик, где белые зубы, где черные косы? Почему налились дурной кровью старые ноги, почему скрючились пальцы? Кто украл девичье время? Ай-ай!

Долгой ночью вышла старая Илик из чума, пробралась за край стойбища. Набила карманы оленьим салом, чайник старый да оленью шкуру с собой взяла. Никто не провожал ее, никто не смотрел вслед – мало ли куда собралась старуха? Зима холодная, зима голодная, не до бабьих причуд. Полезла Илик на скалу Медведицы, а ноги не гнутся, пальцы соскальзывают. Еле наверх забралась. И села ждать – засияет ли в небе голубая звезда?

Натянуло глухие тучи, скрыло небо и землю тяжелой тьмой, подул злой ветер. Ждала Илик. И увидела крохотный голубой отблеск на горизонте. И пошла куда глаза поглядели.

Ой и долгим оказался ее путь, ой и тяжелым. Кто зимой через тайгу не шел, пусть никогда и не ходит. Погибелей

по дороге много – не замерзнешь, так заблудишься, не заблудишься – волкам в пасть попадешь или ледяного ветра надышишься и будешь потом легкие на снег выкашливать. И молодому охотнику не под силу. Но старой Илик упрямства было не занимать – всю жизнь копила. Где пешком, где ползком, где окарачь, однако дошла. Вот обрыв где небо с морем встречается, волны внизу пену сбивают об острые камни. Вот резной столб, сто одной лентой украшенный, вот шаманское костровище и семь сучьев семи деревьев в поленницу сложены и медные колокольчики на ветру дин-дон.

Дождалась ночи Илик, развела костер, запела как шаманки поют. Бубна у нее не было, в ладони стучала, табака не было – сухим мхом дымила, последний кусок оленьего сала огню отдала. И открылась ей дверь на краю обрыва, в Верхний мир, в страну голубой звезды. Шагнула туда Илик безо всякого страха. И увидела огромный простор.

Иссохшие луга, покрытые стеблями мертвых цветов. Тысячи тысяч бабочек, чьи крылья распадаются в пыль от шороха. Птичьи перья на каменных пустошах, хрусткий мох под ногами. Бледный свет как от северного сияния покрывает холмы и доли, серебряная вода расстилается неподвижным ковром. Ни души нет в звездной стране, ни травинки живой, ни ягодки. Только прах.

Легла наземь старая Илик и заплакала, покатались в пыль горькие слезы. А потом утерла лицо кулаком, встала и зашагала назад – дойти сил хватило, значит и в

стойбище вернуться получится. Дети там, внуки, муж хромой дожидается – может и разлюбил, а привычка-то никуда не делась. Пошла она и не заметила, как голубой мотылек запутался в волосах. Как зеленые ростки взбугрили землю там, где пролились слезы...

С того дня прибавилось сил у Илик и удачи ей привалило. Встретила она нойонов Белого царя, подрядилась им еду варить на ночевках, а нойоны ее до самого стойбища довели. Обрадовался Туктуни старой жене и Агияна обрадовалась – вдвоем-то за детьми следить легче, благо их еще больше стало. Сыновья собрались, внуков привезли показать – такая радость, бабушка родная вернулась.

Прожила Илик еще много холодных зим и на здоровье до последнего дня не жаловалась. Когда черная оспа прошла по стойбищам, ее семью тоже обошло стороной. И от родов не умирали женщины и младенцы громко кричали, появляясь на свет. И шурились малые дети, выбираясь по нужде посреди ночи – чудилось им, что висит над чумом голубая звезда. А Илик долгими зимами часто металась во сне – грезилось ей, будто сделалась старая мотыльком и порхала над пестрыми лугами волшебной страны.

...Твоя звезда не гаснет...

Сказки про ворона Кэре и его жену, чайку

Киракчан

Каждый живущий в тундре и каждый в тайге знает, кто такой ворон Кэре. Когда матушка сова снесла яйцо в облачном гнезде на вершине небесной горы, именно ворон проклевал в скорлупе дырку и выпустил наружу оленей, собак и людей. Когда старый Харги собрался выпить море, Кэре запечатал злomu духу рот хвостом летучей звезды. Когда Та, что приходит ночью, отправляется собирать черную дань, Кэре летит перед ней и предупреждает ороحوнов – бегите!

А еще если вдруг пропадет из чума острый нож, монетка или сережка, говорят ороحوны – Кэре украл. Если вдруг самый жирный олень исчезает из стада среди бела дня – Кэре увел. Если у пригожей девицы вдруг начинает расти живот – не иначе Кэре подкрался к ней, когда шалунья купалась в озере. Ох и полетят по тайге черные перья, ох и крику опять будет – нет ревнивей жены чем чайка Киракчан, все она про своего мужа знает. И лишь ее одну на всем белом свете боится хитрец Кэре.

Слушайте, что успел учудить старый ворон, слушайте и не говорите, что не слышали!

Сказ о том, как в тайге великий хан появился
Нет у тайги хозяина, нет над лесами хана – вольно живут звериные племена, кто как хочет. Оберегают зверей духи чащи, провожают на нижние пастбища, шьют детенышам новые шкурки. У тех, кто в стае живет вожаки есть, одиночки сами себе хозяева. Если беда в тайгу приходит, собираются вместе старики, решают, как напасть отвести, где помощь искать. Такого, чтобы один зверь правил, как у людей повелось, а другие ему служили, дань несли да попреки терпели – не было никогда. А потом стало.

Однажды зимой родился у медведицы Энекэн медвежонок. Обычно толстопятые мамки троих-четверых приносят, да еще и пестунов нянчат. А тут один-единственный махонький да тощий. Надышаться на него не могла медведица, и вылизывала и баловала и еду ко рту подносила. Три зимы ночевал сынок в берлоге под теплым боком. А потом заявил, что он Чабакан, взрослый медведь и пора ему самому жить.

На мамином молоке-то заморыш в здоровенного зверя вырос. Валун замшелый лапой перевернет, березку выворотит, кабанчика или олешку играючи зашибет. Драться стал Чабакан, объяснять сородичам кто здесь самый сильный медведь в лесу. Раз порвал соседа, два загрыз пришлого, а на третий все толстопятые его обходить стали – жить-то хочется. Медведицы детишек по буреломам прятали, молодые в другие леса уйти

торопились. И никто с Чабаканом не спорил. А он все рос да сильней становился.

Однажды весной случился в лесу большой голод. Проснулся Чабакан злой-презлой, пошел в одну сторону, пошел в другую – ни рыбы в реке, ни муравьев в муравейнике, ни олешек жирных. Одна сосновая кора, а она горькая, много-то не съешь. Бродит медведь по лесу, рычит, ворчит, когтями землю роет, брюхо пустое песню поет. И вдруг почуял – пахнет рыбкой откуда-то да превкусно. Поспешил Чабакан на запах, подкрался к ручью и видит: куль берестяной стоит на траве, оттуда рыбы бошки торчат. А рядом лиса Хэлмилэн с вяленным сигом расправляется, мало что не мурлычет от удовольствия.

Чабакан не будь дурак прыгнул. Одной лапой Хэлмилэн за хвост держит, другой рыбин в пасть отправляет. А как опустел куль, посмотрел на лису да облизнулся – мясо тощее да вонючее, а другого-то нет.

Испугалась Хэлмилэн:

- Не ешь меня, о могучий медведь!

- Почему мне тебя не есть, рыжая обманщица?

- Я худая, мяса на один зуб. А пощадишь – найду тебе много жирной еды.

Согласился Чабакан. Побежала лиса по тайге, носом туда-сюда вертит. Глядь – кабана деревом придавило.

Пришел Чабакан, зубами щелк-щелк, лисе и косточки не оставил.

- Еще хочу!

Побежала лиса по тайге, носом туда-сюда вертит. Глядь – ороchonский мальчишка за олешками приглядывает. Пришел Чабакан, мальчишку не догнал, а олешку-то завалил. Зубами щелк-щелк, лисе один хвост остался.

- Еще хочу!

Поняла Хэлмилэн, что однажды не отыщет она добычу, и медведь ее съест. И решила схитрить.

- Ты такой сильный и грозный, о могучий медведь! Хочешь стать ханом, править всеми лесами? Будут звери тебе хвалы возглашать да еду нести.

Почесался Чабакан, потянулся, да и рыкнул:

- Хочу быть ханом!

Надела рыжая Хэлмилэн кухлянку с шаманскими амулетами, взяла бубен да заметалась по лесу. Стучит, гремит, кричит:

- Ой, беда, беда идет! Собирайтесь, звери к большой поляне!

Испугались звери – мало ли пожар лиса учуяла или бешеные песцы прибежали из тундры или звезда с неба опять упадет, тайгу погубит. Сбежались к большой поляне, уселись вокруг старой сосны. Бурундуки с

бурундуками, зайцы с зайцами, кабаны с кабанами, волки с волками.

Выскочила лиса в шаманской куклянке и давай плясать-кружить, по земле валяться, словно духи в нее вселились.

- Беда идет, братья-звери, великая, неминуемая! Рассказали мне духи, что собрались нойоны Белого царя на большую охоту, орочнонов проводниками взяли, хотят всех зверей в лесу истребить. Снимут с вас шкуры, братья, вашим мясом собак накормят. Ай-ай, как плохо!

Заплакали звери, завыли, заскулили. Большая охота – большая беда.

Застучала лиса в бубен, запрыгала, да и запела сладко:

- Не бойтесь, братья! Защитник вам нужен, грозный да сильный, чтобы испугались его злые люди.

- Правда! Правду лиса говорит! – зашумели звери.

Вышел на поляну медведь Чабакан, большой-пребольшой. Зарычал грозно, поднялся, лапами замахал, зубищи свои оскалил – ни дать ни взять дух из Нижнего мира. Испугались звери. А лиса знай свое талдычит:

- Вот ваш защитник, великий хан Чабакан! Прогонит он нойонов Белого царя, убьет орочнонов-охотников, никто вас не обидит.

Обрадовались звери, затоптали, загомонили. Грозен медведь, изведет врагов, спасет лес.

- Признаете его своим ханом?

- Признаем.

Надела Хэлмилэн на Чабакана соболью шапку, подняла бунчук с лошадиным хвостом.

- Эй, несите дары, пойте хвалу великому хану.

Звери и понесли кто что мог. Орехи да мед, ягоды да грибы сушеные, рыбу да муравьиные яйца. Наелся Чабакан до отвала и лисе толику перепало.

Наутро снова побежала Хэлмилэн по лесу:

- Повелел великий хан, чтобы звери ему ясак платили. С каждой норы, с каждого логовища, с каждого пастбища доля в казну пойдет. Наберет ваш хан большую силу, защитит всех зверей. А кто ясак не принесет – того Чабакан сразу съест, не помилует.

Поворчали звери, порычали тишком, да и понесли – кто ж станет спорить с великим ханом?

А наутро – новый ясак. Пусть медведицы идут танцевать перед Чабаканом, пусть большекрылые глухари оведают его в жару, пушистые соболя согревают в холод, а когтистая росомаха чешет пятки великому хану.

Что поделаешь? Поспешили к хану медведицы, полетели глухари, поскакали соболи. А вот росомах Этэке

обозлился. Никому в тайге он не кланялся, никого не слушался, никто с ним, клыкастым, не спорил. Волки от Этке по оврагам прятались, рыси по деревьям карабкались, медвежата к мамкам бежали... если успевали сбежать. Позвал росомах двух братьев да и отправился к Чабакану разбираться, чьи в лесу шишки.

Началась страшная битва. Земля дрожала, сосны тряслись, клочья шерсти летели в разные стороны. Трижды налетали росомахи на Чабакана, трижды вцеплялись ему в жирные бока. Но медведь был и вправду силен, разбросал он врагов в разные стороны, раскидал могучими лапами. И не съел лишь потому, что ни один зверь в лесу не станет есть росомаху – хуже мяса на свете нет.

Еще больше перепугались звери: могуч хан, нету с ним сладу. А Чабакан лютовать начал. Побежала с утра по лесу лиса Хэлмилэн:

- Повелел великий хан, чтобы каждый звериный род, каждый птичий клан прислал ему детенышей да птенцов в полон. Пусть до скончания дней служат ясырями-рабами, чтобы звери зареклись бунтовать против власти!

Заплакали звери, запричитали. А что поделаешь? Послушаешься медведя – потеряешь детишек, не послушаешься – охотники всех убьют.

Затрепыхал крылышками коротышка Чувик-кулик:

- Надо ворона Кэре на помощь звать. Он мудрый, он придумает как спасти наших детей.

Опечалились звери. Еще по осени запретили они ворону Кэре по лесу летать, чтоб не воровал чужую добычу, не подкатывал к чужим жёнам, не пачкал кабанам да оленям нарядные шкуры. А ну как не станет им помогать?

Пришли звери к высокому чуму, разукрашенному чем ни попадя – и косточки там и ракушки и блестящие камушки. Вышла навстречу гостям белоперая красавица чайка Киракчан:

- Ай-ай, что еще натворил мой муж? Вот я ему покажу!

Зачирикал кулик:

- Беда у нас в лесу, пришли у Кэре совета просить!

- Спит он! Не будет говорить с вами.

Понурились звери. Один Чувик-кулик приосанился, распушился:

- Ай хороша ты сегодня, Киракчан, перышки как снег белые, клюв как кровь красный и глаза угольками горят. Всякому лестно с такой красивой по берегу погулять долгим вечером!

- Карр! Карр! Кто тут мою жену хвалит?

Вылетел из чума ворон Кэре, клювом клацает, перья топорщит, сердится.

Однако попросили тут у него звери прощения, да поведали, в какую беду попали. Лютует великий хан, детишек в полон забрать хочет, а не дашь – придут охотники, всех убьют.

Послушал их ворон Кэре, покачал клювастой головой да сказал:

- Возвращайтесь-ка вы в лес, звери! Скажите великому хану, что с охотой бы отдали ему детей, да малы они, бестолковы. Пусть подождет до желтых листьев грозный Чабакан – подрастут зверята, выйдут ему хорошие слуги. А пока угощайте его с утра до вечера, да не скупитесь, все несите! И служите ему как подобает служить хану

Ничего не поняли звери, но послушали мудрого Кэре. Потасили Чабакану лучшую еду, какую можно в тайге достать. Служили ему как верховному духу – шерсть серебряным гребнем чесали да душистыми маслами умащивали, сахар на золотой ложке в пасть вкладывали, следили, чтобы шагу лишнего великий хан не ступил по грязной земле.

Ворон Кэре каждый день кружил над лесом, глядел на Чабакана. А когда зазолотились березы полетел в стойбище лесных орочонок. Постучал клювом в чум одноглазого шамана, забрался под полог да поведал тому: живет в тайге бурый медведь, да такой толстый, что всему роду медвежьего жира на зиму хватит. А уж шкура у него до того хороша, мягка да тепла – ай, сладко

будет спать на ней старому шаману! И назад в тайгу улетел хитрец.

Долго ли коротко ли, поднялся в лесу великий шум. Бегут звери, летят птицы, ползут змеи – ай, явились злые охотники-орочоны, сейчас всех убивать будут. А между сосен собачий лай далеко разносится и люди перекрикиваются: ахой, ахой!

Прибежали к старой сосне звери:

- Орочны идут, великий хан, защити свой народ!

Поднялся грозный Чабакан со своего ложа, встал на четыре лапы – а на две-то уже не может, жирный зад перевешивает. Оскалил острые зубы – а они затупились от обжорства. И когти длинными словно у мертвеца сделались – целое лето сидел медведь сиднем, не стачивал их о камни. Какой из него боец?

- Звери лесные, слуги мои верные, спасите меня, - закричал Чабакан.

А звери по тайге разбежались, попрятались кто куда.

- Хэлмилэн, рыжая пройдоха, спаси меня! – закричал Чабакан.

А лисы давно след простыл. В нору забились рыжая и вход кухлянкой заткнула – авось не найдут.

Понял медведь Чабакан – смерть его пришла. Зарычал, заревел и приготовился к бою. Может и плохим он был

ханом, но все же был, носил соболью шапку. А хану негоже умирать, моля о пощаде.

Облепили медведя собаки, окружили охотники с копьями. Раз навалились, второй, третий – только кровь на палые листья льется. Из последних сил держится Чабакан, лапами машет, зубами рвет, наземь врагов сбивает. Знает, что один бьется, нет ему ни подмоги, ни милости...

Вышли из-за сосен рогатые лоси, выбежали свирепые волки, кабаны свиньей выстроились, рыси с деревьев прыгали на орочонов, птицы стаями налетели, а над ними ворон Кэре кружит и кричит: пррррчь! Пррррчь! Испугались охотники, решили, что духи леса на них прогневались. Отозвали собак и бежать! Долго после великой битвы ни один орочон не рисковал бить зверей или птиц в заповедном лесу, детям и внукам заказали соваться туда с оружием.

О могучем хане Чабакане лесные птицы много песен сложили, много сказок придумали. Как придешь в сосновый бор, как начнется веселый гомон да пересвист, так и слышится «хан-ча-ба-кан». Медведицы рассказывали медвежатам, каким смелым богатырем был первый и последний правитель зверей, как в смертельном бою жизнь отдал за свое ханство. Росомахи пугали росомашат страшным медведем – не будешь слушаться, придет великий Чабакан и заберет тебя в Нижний мир.

И лишь ворон Кэре когда слышал эти сказки, каркал насмешливо. Но на то он и ворон, чтобы каркать на целый мир!

Ворон Кэре и заяц Муннукан

Нет в тайге зверя беззащитнее зайца. Всяк ушастого обидеть норовит – и волк голодный и лиса хитрая и барсук-проказник и беспощадная рысь и свирепая росомаха и белая сова с острым клювом. Одно спасение у косоногого – быстрые ноги. А каково живется хромоту зайцу?

Колченогий русак Муннукан не всегда спотыкался. Родился он шустрым, скакал по полянам и замирал в густой траве не хуже сестер и братьев. А потом пробежал через поляну лось Лукучэн – волки за ним гнались что ли, или послышалось рогачу – и наступил на зайчишку. Выходила Муннукана мама-зайчиха, но лапу он с тех пор приволакивал. И немало терпел от зверей и птиц – уж больно потешно ковылял да свирепо злился, если кто его хромоножкой честил. Всяк норовил потеревить зайца, клюнуть в хвост, по земле повалить, пасть разинуть: ай, сейчас съем!

Пока мал был Муннукан, терпел обиды. Как вырос, совсем невмоготу сделалось – братцы-зайцы отыскали себе подруг, закувыркались с зайчихами, заплясали на луговинах. А с хромым кто пойдет? Ай, горе!

Поковылял Муннукан куда глаза глядят, лишь бы подальше от злых зверей. Брел он брел, остановился передохнуть малость, кислицы пожевать. И вдруг плюх на него что-то с неба, да так пахнет, что хоть помирай! Поднял заяц голову – а над лесом ворон Кэре кружит.

Расплакался обиженный Муннукан. Как жить после такого позора? Ай, пойду сейчас к лисьей норе, позову: Хэлмилэн, Хэлмилэн, съешь меня. Даже косточек от бедного зайца на земле не останется.

Услышал ворон Кэре, как плачет заяц, спустился наземь. Пусть и вороват был ворон, пусть и любил поглумиться, сердце у него оставалось добрым. Попросил Кэре прощения у Муннукана, привел в чум, натопил нерпичьего сала, вымазал зайца, выскреб дочиста. Чайка Киракчан подала гостям чаю с сахаром, сушеных ягод в молоке размочила для гостя, а пока он ел – на конковуре играла да песни веселые распевала. Отогрелся Муннукан, разнежился, да и рассказал Кэре свою историю. Каркнул Кэре сочувственно, головой покачал:

- Не печалься, Муннукан, помогу я твоему горю. Спать ложись, утро вечера мудренее.

До утра проспал заяц на мягких шкурах, до утра видел сны о веселых зайчихах, скачущих в зарослях земляники. До утра колдовала над ним чайка Киракчан, собирала по крохам жилы да косточки, сращивала живое с живым. А у Кэре была другая забота.

Проснулся Муннукан, вышел из чума до ветру –и понял, что хромать перестал. Заскакал он от радости, через кусты запрыгал, чуть вторую лапу не сломал. Поглядел на зайца Кэре и каркнул:

- Рано радуешься, братец! Помнят звери, как ты по лесу ковылял, о сучки спотыкался. Помнят зайчихи, как ты ни за одной угнаться не мог. И хоть выше Белой горы прыгай, не увидят они что ты хромать перестал. Мы с тобой, братец, мало-мало схитрим!

Вытащил Кэре из-за чума деревянные нарты, накрыл их дорогими шкурами, встал спереди и упряжь себе на шею набросил, бубенцы на шею надел:

- Поехали!

Уселся Муннукан на меха, захлопал крыльями Кэре и полетел, потащил нарты за собой через тайгу. Да раскаркался, словно сам Агды за ним гонится – пусть все видят. Смотрят звери, смотрят птицы, глазам не верят: едут по летней тайге зимние нарты, тащит их мудрец Кэре, а на пышных мехах колченогий заяц возлежит, важный что Белый царь. Доехали нарты до Ясного озера, остановился Кэре, сбрую снял, расстелил на берегу узорчатый ковер, расставил золотые блюда да чаши, под руки вывел калеку, усадил и давай потчевать. Разлегся Муннукан, словно сам Лунный заяц - то кумыса лакнет, то орешек сгрызет. А Кэре клюв наклонил да прислуживает убогому. Накормил, напоил, лапы заячьи жиром вымазал да о свои перья вытер. Трубку набил табаком, подал Муннукану с поклоном, а сам рядышком сел – благоговеет.

Что такое случилось? Неужели великий дух воплотился в никчемном заячьем теле и Кэре первым это увидел? И

воздает почести, благосклонность вымаливая? Перешептывались звери, переглядывались, ничего понять не могли. А Кэре тем временем проводил сытого зайца назад, усадил в нарты, укутал, чтобы не продуло болезного, собрал имущество да домой полетел. Подле чума Муннукан благодарить ворона бросился, землю перед ним целовать. Кэре его поднял, да обнял: пустое это. Будь счастлив за всех калек, братец заяц!

И на второй день вернулся ворон к озеру, и на третий. Дождик заморосил – так Кэре расправил крылья, прикрыл Муннукана. Хищная щука морду из озера высунула – клюнул ее Кэре прямо в нос и прогнал. Нечисто дело, ай нечисто!

А как выскочил Муннукан из нарт, как выпрыгнул на зеленую поляну, отталкиваясь обеими лапами от земли, поняли звери – чудо случилось! Окружили зайца уважением да почетом, дары ему стали нести, угощениями разными потчевать, совета спрашивать. Важной птицей стал Муннукан, раз сам упрямый Кэре ему служил. А уж сколько зайчих набежало, лучше не говорить – прослышит охотник, умрет от жадности. Обихаживают Муннукана, шерстку перебирают, свежую травку на серебряном блюде подносят. А он знай ушком дергает, мух гоняет.

Поглядел Кэре, до чего балуют хромого зайца, каркнул: ай, хорошо! И улетел свататься – появилась в соседнем лесу красавица Чокчокун-трясогузка, страсть как захотелось ворону взять вторую жену. А Муннукан

остался – все-то его хвалят, все-то его любят, ни медведь лапу не подымет, ни волк зубов не покажет важному зайцу. Проказник-барсук дорогу уступит, рысь-охотница наземь не сойдет, белая сова листиков березовых принесет, молодых с самой вершины дерева...

Как Кэре за невестой ходил – отдельная сказка, но вернулся он изрядно ощипанным. Да еще и Киракчан от себя добавила – нечего, мол, шляться, на чужих пташек смотреть. Пока громы не стихли, решил Кэре в лесу отсидеться, а заодно, узнать, как у зайца дела. Мало ли обижает кто бедолагу или зайчихи с ним снова неласковы. Сильного-то стороной обойдут злые звери, а малого-увечного так и норовят тюкнуть!

Долетел Кэре до поляны и видит: разлегся заяц на зеленой траве, вокруг зайчихи хлопочут – кто усики разгладит, кто ушки на помадит, кто коготки подстрижет любезному Муннукану. И все вежливо, все с заботой, будто и вправду стал заяц вождем десяти племен, возлежащим на белой кошме. Подкрался Кэре поближе – и услышал:

- Я, красавицы мои, первый сын Лунного зайца, будущий господин тайги. Ни волков не боюсь, ни медведей не страшусь. Сам Кэре у меня на побегушках теперь – скажу ему подать мне сладких ягод или свежего молока, все сделает.

- А как же так вышло, великий Муннукан? - спросила маленькая зайчиха. – Почему Кэре стал тебе служить?

- Дело было в лесу, - заважничал заяц. – Летел себе Кэре по своим вороньим делам, да отвлекся, о сосновый сук стукнулся, в медвежью кучу упал, а она сами знаете какая большая. Тут как раз я рядом скакал, ну и спас замараху. Вытащил Кэре за крепкий хвост, к озеру отволол, чтобы искупался глупый ворон хоть один разок в жизни!

Не выдержал Кэре. Как выскочил, как выпрыгнул, как закаркал: Непррравда! Непррравда!

Зайчихи заверещали, бросились врассыпную. Муннукан тоже сбежать хотел, да куда ему от Кэре деваться? Даже целая нога не спасла. Долго мутузил сердитый ворон хвастливого зайца, за хвост дергал, за усы щипал, по траве валял, бесстыжим и неблагодарным честил. А Муннукан лишь верещал жалобно. Устал наконец Кэре, плюнул зайцу под ноги и наказал: еще раз солжешь про меня, живьем съем! Все понял?!

Заплакал косой, прощения попросил. Что с него, недодумчивого, возьмешь? Каркнул Кэре обиженно, тюкнул зайца клювом в темечко да полетел восвояси – наловить рыбы, нарвать красивых жарков да помириться с женой. Поворчит-поворчит Киракчан и простит мужа.

А хвастливого Муннукана до конца жизни никто больше не обижал. Зайчихи на него как на белого царя косились, прочие звери расступались и кланялись уважительно. Вроде и малый грызун и слабый – а ведь сам великий Кэре колченого зайца в нартах возил, словно олень в

упряжку впрягался. Да и не хромает Муннукан больше.
Вдруг и вправду великий дух за серою шкуркой прячется?

...От рябинного корня сосна не вырастет...

Ворон Кэре и медведица, которая гналась за солнцем

Все знают, откуда берется ночь. Желтая рыба Солнце целый день плывет по небесной реке, а за ней по небесным горам вприпрыжку бежит медведица Бирин. На закате царапает Бирин горячий бок рыбы, льется кровь в облака. А затем тащит Солнце к себе в берлогу, чтобы весь свет на свете доставался одной медведице. Согревается от горячих лучей жилище, засыпает усталая Бирин – легко ли целый день по небу бежать?

А желтая рыба снова возвращается в небо. И так всегда, от начала времен до того дня, когда проглотит медведица желтую рыбу, и тьма поглотит все три мира. Понял, глупый ты зверь?

- Понял, батюшка Кэре, - смиренно вздохнул песец Кирса. – Медведица бежит за рыбой, мы все умрем, а у тебя, батюшка, клюет! Поспеши, не то сказками вместо сигов будешь жену потчевать!

Дернул ворон удилище и ну браниться – рыба-то наживку сглотнула, да и ушла вместе с крючком. А с пустыми руками к Киракчан лучше не подходить. Выпил давеча Кэре крепкой бузы, полный чум гостей пригласил пировать, сам с ними в загадки играл да олений танец плясал. Опустошили гости все запасы, ни мучицы не осталось, ни молока мороженого, ни рыбы вяленой. Впору кожу на ремни резать, суп варить. Голодная жена – злая жена, все знают.

Расправил Кэре могучие крылья, поднялся над озерцом – что бы упромыслить? Волк Бэйнэ под сосной сидит, старую кость грызет – пусть дальше гложет. Охотник Бэюдэ росомаху добыл, в чум на нартах везет – пусть сам ее и ест. Лиса Хэлмилэн снег хвостом метет, пыхтит-старается – а что это она тащит? Ай-ай!

Раздобыла рыжая оленью печенку, в нору волочет чтобы тихонько съесть, и никто не отнял. Вот ее-то и разъясню! Кто бы спорил, хитра Хэлмилэн и на Кэре зуб точит – не раз и не два дурил ее ворон. Но попробовать-то стоит?

Покружил над лесом Кэре, опустился тихонько и на тропку перед Хэлмилэн вышел, переваливается, словно на пиру побывал.

- Белого снега тебе, мудрая Хэлмилэн, полного живота и теплого логова!

- Ем да свой, воровская твоя душа! Ни кусочком не поделюсь!

- Ешь вволю, прекрасная Хэлмилэн, набирайся сил перед весенними холодами. Не нужна мне твоя тухлятина, сыт по горло.

- Чем же это ты отобедать успел, брюхо набил бездонное?

- Ай, пустяки! Даже говорить не хочу, чтобы аппетит тебе не испортить.

- Дохлого тюленя, небось, к берегу прибило?

- Ай, сама ешь своих тюленей.

- Оленьи потроха у собак отбил? Силен ворон!

- Ай, сама ешь свои потроха! Купец Иван по дороге ехал, куль с саней уронил. А там рыба красная, икра копченая, языки лосиные, окорок медвежий да араки хмельной бурдюк. Я не будь дурак, полакомился, чем духи послали. А потом песец Кирса пришел с песчихой и щенками своими, прогнал меня и давай трапезничать. Едят, пьют, песни поют, говорят – все съедим, лисе не дадим.

- Вот негодяй! Я с ним мышами делилась, на свадьбу чайник подарила, сама у ороحوнов украла, а он жадничает. Ужо я ему покажу!

Бросила лиса печенку да побежала к дороге. А Кэре того и надо. Ухватил добычу и полетел в чум к чайке Киракчан. Сытая жена – добрая жена, все знают. Летел-летел, притомился, сел передохнуть на берегу речушки. Глядь - выдр Дюкун в снегу кувыркается, налима в лапах держит.

- Глубокой воды тебе, славный Дюкун, жирных сигов и пыжьянов!

- Попутного ветра тебе, мудрый Кэре, ясного неба и сытной трапезы! Приготовит тебе Киракчан добрый ужин. Хорошая хозяйка твоя жена, жаль некрасивая.

- Это моя-то чаечка белогрудая, красноклювая – некрасивая? Думай, что говоришь, Дюкун!

- Ай, Кэре! Кто видел красоту небесной медведицы Бирин, тому любая женщина уродливей пупырчатой жабы покажется. Глаза у нее зеленые как изумруды, лапы нежные как птичий пух, голос глубокий как большая река и сладкий как русский сахар.

- И откуда ты знаешь, Дюкун?

Облизнулся выдр:

- Ай и вкусна рыба в небесной реке, ай и жирна! Если забраться на гору Чэлке и прыгнуть оттуда высоко-высоко, попадешь в Верхний мир и все увидишь. Я там был, рыбу брал, завтра еще пойду.

- А я сегодня! Держи подарок за добрую весть!

Ослабился выдр, разинул рот – думал ему печенки перепадет. А Кэре щелкнул его по лбу клювом, выхватил налима и полетел прочь. Ишь, плоскохвостый, ворона обмануть хотел!

Темным вечером вернулся Кэре к своему чуму. Чайка Киракчан его на пороге встречает:

- Где летал, муженек, где пропадал, каким вертихвосткам глазки строил, каким глупым мужьям глаза отводил?

- Ай, Киракчан! Медведю Учикану сказки рассказывал, голову морочил, а его красавица-жена поцеловала старого ворона прямо в...

- Лгун клювастый! Спит до весны Учикан и жена его спит.

Улыбнулся Кэре:

- Все бы тебе мужа бранить, милая Киракчан, все бы ни за что ревновать. Еды нам добыл – вот тебе, жена, мясо, вот рыба. Ужин готовь!

Обрадовалась чайка, стала обнимать мужа, ласковыми именами называть. Побежала котел ставить, еду готовить, чай кипятить. Накормила Кэре, напоила, спать уложила и сама рядом легла. На сытый желудок-то крепко спится. А к ворону дрема нейдет. Лишь закроет глаза – видит красавицу медведицу Бирин на берегу небесной реки. Поворочался ворон, покрутился с боку на бок, да и выбрался потихоньку из чума. Не впервой ему уходить среди ночи, посердится жена и простит.

Полетел Кэре прямо к горе Чэлке. Долетел до вершины, развел костер, бросил в пламя табаку да оленьего сала, закурил трубку, вдохнул ароматный дым – и поднялся высоко-высоко, мимо туч, мимо облаков, мимо корней великого дерева. Вот и Верхний мир. Течет-изгибается веселая река, мчится по водам желтая рыба Солнце, гонится за ней небесная медведица Бирин.

Обомлел Кэре – много жил он на свете, много видел и много слышал. А такой красавицы как Бирин никогда не

встречал. Мех у нее волосок к волоску снизу медный сверху серебряный, когти золотые, глаза изумрудные и огоньки в них сверкают. «Весной встретить – сердце потерять, осенью – душу уронить в землю» как говорят орочны.

На цыпочках крался Кэре за красивой медведицей следом, да тихонько, чтобы не напугать. Долго ли коротко ли, поймала Бирин желтую рыбу, царапнула сияющий бок да потащила к себе в берлогу. Кэре за ней скок-скок, глаза горят, сердце бьется, словно перепил хмельной бузы не ко времени. Увидал, как забралась медведица в логовище, выждал малое да прыг туда:

- Я старый ворон и не знаю слов любви, прекрасная Бирин! Но лишь попроси – добуду тебе луну с неба и жемчужину со дна моря, подснежников зимой и снега летом достану, доброго хана, честного купца и мандарина, подношения не берущего, покажу. Все, что хочешь отдам, все что хочешь для тебя сделаю, Бирин, ради одного взгляда, одной улыбки ласковой...

- Все что хочу, сделаешь? – улыбнулась медведица, показала белые зубки. – Все, что попрошу, исполнишь и не испугаешься?

- Хоть великого Сэвеки в плешь клюну, если таково желание твоего сердца, восхитительная Бирин!

- Настоящий богатырь, покоритель слабых женских сердечек!.. Эй, Хутэктэн, Сатымар, Атактак, выходите! Я вам няньку нашла.

Глядь – из темных углов берлоги показались медвежата. Сами мелкие, мордашки шkodные, лишь глазами-изумрудами на мать похожи.

- Соскучилась я по своему мужу, большому медведю Мани. Когда я рыбу Солнце утаскиваю в берлогу, он выходит на другой берег небесной реки чтобы догнать рыбу Луну. Ловит ее за серебристый хвост, кусает за жирный бок и уносит к себе в логовище. Тут бы и повидаться, потереться носами да приходит мой срок гнаться за рыбой Солнце. Редко-редко бывает, что Луна уплывает в темные омуты, набирается сил, отращивает новую чешую. Хочется поспешить к мужу, а детишек оставить не с кем. Забалуют, передерутся, рыбу Солнце на куски разорвут. Посидишь с ними или не все готов сделать для прекрасной медведицы?

Крякнул Кэре, сел на хвост, клювом прищелкнул горестно. Много он делал в жизни: воевал, пировал, суп из весла варил, людям дорогу в Средний мир проклевал, а злых духов туда не пустил. А вот детишек нянчить ни разу не доводилось. Ни единого птенчика у них с Киракчан не было.

Засмеялась обидно медведица:

- Говорили, великий Кэре держит слово.

- Ай, женщина, не кусай мою голову, - решил Кэре. – Ступай к мужу и за медвежат не беспокойся. Посижу с ними.

Рыкнула медведица, встряхнулась словно мокрая нерпа, шуррх – и убежала искать мужа. А медвежата заплясали вокруг Кэре:

- Птичка! Птичка! Няня птичка, давай с нами играть!

- Карр! А во что вы хотите поиграть, медвежата?

- Давай мы будем волки, а ты олень и мы тебя съедим! Давай мы будем касатки, а ты тюлень и мы тебя поймаем! Давай мы будем большие медведи, а ты глупый маленький ороchon!

- Давайте вы будете могучие валуны с берегов белого моря!

- А как играть в могучие валуны?

- Вы ляжете под одеяла и закроете глаза, а я расскажу вам сказку.

- Про медведя?

- Конечно про медведя!

Улеглись Хутэктэн, Сатымар и Атактак под пуховые одеяльца, закрыли глаза. Начал Кэре рассказывать:

Давным-давно, когда лебеди по земле ходили, горы мышат родили, а шаманы небо и землю разгородили,

жил-был медведь, большой-пребольшой. Отправился он на берег белого моря, поискать себе пищи. И увидел – стоит на берегу ледяная гора, а с нее ворон катается. Усядется на хвост – и шуррх вниз! Помашет крыльями – и снова наверху. И опять – шуррх! Нравится ворону кататься. Завидно стало медведю:

- Эй, ворон, пусти с горы покататься!
- Ты медведь большой-пребольшой, раздавишь гору!
- Я на одной лапе проеду! Пусти!
- Ты медведь теплый-претеплый, растопишь гору!
- Я в снегу вываляюсь!

Пустил ворон медведя. Кое-как вскарабкался косилапый на самый верх – и кубарем с горы покатился. Чебурахнулся в море, проломил лед, начал тонуть и кричит:

- Ай-ай, спаси меня добрый ворон!
- Говорил я тебе, не ходи на гору, не ломай лед!
- Я тебе семь саней жирной рыбы наловлю, семь жирных оленей добуду – спаси!
- Говорил я тебе, глупый медведь, а ты меня не послушал – вот и купайся в море!
- Есть у меня сестра-красавица, спасешь меня – отдам ее тебе в жены.

- Хорошо!

Закаркал ворон и слетелось к нему сорок сороков птиц. Ухватили они большого медведя и потащили на сушу. Несут-пыхтят, шерсть вырывают клочьями, а медведь знай терпит. Вот и берег! Вскарбакался медведь наверх, отряхнулся как собака, да и показал ворону язык:

- Обманул я тебя, глупый ворон, нет у меня никакой сестры!

И покосолапил себе в тундру, когтями по земле шкрябая. Разозлился на него ворон, отомстить решил бессовестному. Знаете, как?

Глянул Кэре – а детишки-то спят. Тогда ворон и сам на полу свернулся подле теплой рыбы Солнце и задремал тихонько. Разбудила его медведица, счастливая как невеста:

- Ай спасибо тебе, добрый Кэре. Истосковалась я по мужу, счастлива была повидаться с ним. Да и детишкам, вижу, не скучно было.

- Рад услужить тебе, прекрасная Бирин! А теперь позволь, в Средний мир назад улечу? Буду зверям и птицам рассказывать о небесной твоей красоте!

- Погоди, Кэре! Даже пупырчатая жаба знает – на добро добром отвечают. Есть у меня для тебя подарок.

Протянула медведица ворону ледяной шарик размером с шишку. Глянул Кэре – внутри крохотная рыбешка резвится.

- Спасибо, прекрасная Бирин, но такой рыбешкой даже мышь не накормишь. Зачем она мне?

- Прилетишь домой в чум, зажаришь рыбку на угольках, поделишь с женой и съешь. И увидишь, что будет! А как встретишь выдра Дюкуна, передай – он прекрасная нянька.

Каркнул Кэре, ухватил подарок и полетел прочь. А следом и Бирин выкатила на небо желтую рыбу Солнце.

Долго ли коротко ли, вернулся Кэре к себе в чум. Чайка Киракчан его уже ждет на пороге – хорей в одной лапке, чайник в другой.

- Ах ты, бесовестный ворон, гуляка неистовый! Говори, каким вертихвосткам глазки строил, каким глупым мужьям глаза отводил?

- На небо летал, милая Киракчан, красотой медведицы Бирин любоваться, той, что гонится за желтой рыбой Солнце.

- Ну и выдумщик ты, Кэре. Солнце вовсе не рыба! Это толстая птица Куку, что в один присест съела тысячу светлячков и так засияла, что Сэвеки отправил ее в Верхний мир – там, небось, никому глаз не выжжет.

- Ты права, Киракчан. Летал, добычу искал, еду принес. На, зажарь, да смотри на оленьем масле!

Достал Кэре ледяной шарик, уронил его ненароком – глядь, на снегу рыбина большая-пребольшая. Созвал Кэре всех соседей – и медведя и волка и обиженную лису и песца и даже семейство выдр. Три дня ели небесную рыбу, чавкали да нахваливали. На четвертый разошлись кто куда гости. Улегся Кэре поспать, да три дня-то разом и придавил – мудрено ли, на небо летать, детей нянчить, рыбу есть, хвастливого выдра в доме терпеть!

На четвертый день проснулся старый ворон от писка:

- Папа! Папа! Вставай, мы играть хотим!

Снесла Киракчан яйца, за один день их высидела, десять птенцов вылупилось – половина клювастые и черноперые, половина белогрудые и красавицы. Каркнул Кэре, вылетел из чума голову проветрить, с мыслями свыкнуться. Глядь, а к нему навстречу соседи идут. И белый медведь и серый волк и полярный песец и морды у всех нехорошие. А следом стая детишек – медвежата, волчата, песчата – и хором «Папа» кричат. «Папа волк! Папа медведь! Папа песец, мы кушать хотим!»

Целый месяц Кэре на высокой сосне отсиживался, пока соседи его простили. Зато жена ревновать перестала и не злилась на него больше – ворковала над птенчиками,

пела им, да так звонко, что соловьи вторили. Счастье
пришло в их чум!

Как ворон Кэре жениться ходил

Все знают – одна жена хорошо, а две лучше. Одна старая да умная, другая молодая да красивая. Одна мясо варит, другая рыбу строгает. Одна парку шьет, вторая торбаса расшивает. Одна ягоды собирает, вторая оленух доит. Одна с детьми сидит, унимает их, чтоб не плакали и чум по жердинкам не разносили, вторая мужа ублажает, ноги усталые ему растирает, ласковые слова говорит... Что от двух жен вдвое больше детей и хлопот, что обеим надо красные бусы дарить, цветастые шали у купца Ивана заказывать, что споятся они и в два голоса дорогого супружника распекать станут, о том мужчинам до времени невдомек. Даже таким мудрым, как ворон Кэре.

Как вылупилось у Киракчан десять птенчиков, не до мужа ей стало. Всех накорми-напои-спать уложи, проследи чтоб не дрались, друг дружку не поклевали, у соседей чего не стащили, гостей не обидели. А то придет зверь али птица у Кэре просить совета, обступят просителя птенчики, разинут голодные клювы – и пока не угостишь каждого, в чум не пустят. Днем и ночью хлопочет Киракчан, не присядет, не приляжет, о муже и не вспоминает. Пробовал Кэре дома не ночевать, пробовал совиные перья на хвосте приносить, пробовал выхвалять пышные прелести тетерки Энэчен – без толку. Поцокает Киракчан красным клювом, вздохнет тяжело – и опять по чуму шуршит, даже не клюнет ворона.

Решил Кэре – надо снова жениться. Молодая жена и приготовит и уберет и детишек понянчит и мужу угодить

сумеет. Станет Кэре сытый да гладкий, снова будет по тайге гордо летать, на красавиц сверху посматривать, хвастаться перед зверями: две хозяйки меня с охоты ждут! Где бы только подходящую невесту добыть?

Полетел Кэре к песцу Кирсе – у него сестрица на выданье. Всем хороша – шерстка белая, зубы острые, лапы крепкие. Одно плохо – по весне птичьи яйца ворует, а птенца в гнезде встретит и его слопает. И чайчатам с воронятами несдобровать!

Полетел Кэре к ворону Сорэ – у него дочь заневестилась. Всем хороша – перья черные, клюв острый, лапы когтистые. Одно плохо – характер у нее весь в отца, где Сорэ одно словечко каркнет, она десять вставит. И мужа, небось, заключет!

Полетел Кэре к куропатке Кавекан – у нее целых три внучки о свадьбе мечтают. Всем хороши - беленькие, пухленькие, клювики крючком, глазки-бусинки, милота милотой. Кроткие, добрые, услужливые, и едят мало – поклюют пару зернышек, отыщут пару червячков и сыты. Одно плохо – куропатки. Все знают – глупей птицы ни в лесу, ни в тундре не сыщешь!

Идет Кэре по лесу, пригорюнился, опечалился. А навстречу ему лиса Хэлмилэн:

- Теплой весны тебе, мудрый Кэре! Отчего невесел, клюв повесил?

- Сухой норы тебе, прекрасная Хэлмилэн! Жениться вот захотел, вторую жену в чум взять. А невесты ни в тайге не в тундре не сыщешь.

- А ты меня возьми, - облизнулась Хэлмилэн и бочком-бочком поближе к ворону притулилась. – Чем я тебе не жена? Любить буду, ласкать буду, по ночам согревать буду!

Забилось сердце у ворона, кровь быстрее побежала по жилам, горячо сделалось. Ах, хороша, плутовка – рыжая, стройная, ласковая да повадливая. Так бы и повалить на теплый мох...

- Ай, перед другими вилялкой виляй, - отпрыгнул от греха Кэре, за куст спрятался. – Все знают: как начнет лиса стареть, так пойдет мужей себе искать. Девятерых соблазнит да хвосты у них отрежет. А потом кувырнется через все девять разом и снова молодой сделается. Один белый медведь на тебе без опаски женился – у него хвоста нет. Так и тот на Северный полюс сбежал – заездила.

Расохоталась Хэлмилэн так что шишки с сосен посыпались.

- Не обманешь тебя, мудрый Кэре, не проведешь! Ладно, расскажу тебе про невесту. За Орлиными горами, за зелеными долами есть одно стойбище. И живет в нем серая птичка красавица Чокчокун. Взгляд отвести нельзя, до того мила. Песню запоет – весь лес затихает, слушает.

Пир для соседей накроет – все ее яства гости съедят и траву вылижут, чтоб ни крошечки не пропало.

- А умна ли красавица? – каркнул Кэре.

- Самого Агды обманула, когда он жениться пришел, да в Нижний мир назад выставила.

- А целомудренна ли?

- Увидит шишку – краснеет, увидит мужчину – лицо крылом закрывает.

- А почему же не замужем до сих пор?

- Мужа по себе ищет. Ты, мудрый Кэре, ей аккурат под стать.

- А не стар ли я для такой невесты?

- Ай, Кэре! Ты мужчина хоть куда, сильный, красивый, даже мне, бедной, чуть не разбил сердечко! Что мы тут болтаем? Ступай женись, а то, смотри, уведут Чокчокун!

Вильнула хвостом Хэлмилэн, улыбнулась лукаво и исчезла в чаще. Подумал Кэре, подумал, расправил крылья и полетел смотреть, что там за красавица Чокчокун. А то мало ли и вправду уведут. Миновал Орлиные горы, пролетел зеленые доли, видит белую юрту посреди цветущего луга. А перед юртой танцует серая птичка в цветочном венке. То в одну сторону изогнется, то в другую утицей поплывет, и щебечет

звонким голосом и смеется так, что сердце из груди рвется. И вправду красавица неземная, не соврала лиса.

Заложил Кэре круг над юртой, приземлился на травку – как есть орел. Смутилась серая птичка, крылом закрылась, спрашивает тихонечко:

- С чем пожаловал, гость дорогой?

- Ты ли будешь прекрасная Чокчокун?

Кивнула птичка застенчиво.

- Я ворон Кэре, самый мудрый в тайге. Я проклевал яйцо матушки совы, я сразился со злым Харги, знаю сто сказок, пою сто песен и олений танец пляшу так, что олени завидуют. Услышал я о твоей красоте, Чокчокун, прилетел с холодных северных земель, чтобы полюбоваться. Поди за меня замуж!

Рассмеялась Чокчокун – словно капель по льду прозвенела.

- Говоришь, что ты мудрый Кэре? Почему же поперек обычаев поступаешь? Где твои сваты, где подарки невесте, где выкуп для семьи? Ай-ай, некрасиво поступаешь!

- Прости меня, прекрасная Чокчокун и не сердись! Все тебе будет!

Полетел назад в свои края ворон Кэре, принес в когтях горноста Киранаса, туюсок меда да мешок гагачьего

пуха. Поклонился горностаю красавице Чокчокун, поднес ей дары и спросил:

- Принимаешь ли ты, почтенная Чокчокун, сватовство ворона Кэре, пойдешь ли за него замуж?

Хихикнула красавица, лапкой топнула:

- Если три желанья моих выполнит – приму.

Каркнул Кэре, а делать нечего – жениться-то хочется.

- Проси, любезная Чокчокун!

- Перво-наперво хочу я, мудрый Кэре, красный цветок из жерла огненной горы. Если девушка украсит им свою прическу, красивей всех на свете станет. Затем хочу золотого жука с таежных болот – кто его в сундук положит, богаче всех на свете станет. И, наконец, хочу я красные бусы твоей жены, чайки Киракчан – если ты их мне принесешь, значит и вправду меня любишь!

Каркнул Кэре, за голову схватился – а поздно. Обещал – значит жениться придется и обещания выполнять.

Первым делом поспешил он в страну Камчатка, где живут толстые медведи, сытые лисы и бородатые камчадалы. И возвышается вулкан Кихпиныч, полыхает огненное жерло. Миновал Кэре Долину Смерти, посмотрел сверху на белые кости глупых зверей. Улетел от свирепого орлана, увернулся от его острого клюва. Отыскал на горячих склонах красный цветок. И принес невесте.

Обрадовалась Чокчокун, украсила перья цветком, красивой всех на свете стала. Улыбнулась жениху, показала ему стройные лапки.

Заторопился счастливый Кэре в таежные болота. Трижды мог утонуть в трясине, трижды бился с мокрыми духами, триста тридцать пиявок с себя снял. Однако отыскал в омуте золотого жука, ухватил клювом покрепче и принес разумнице Чокчокун. Думал ворон – станет она красивая, станет богатая, не захочет старшую жену злить.

Обрадовалась невеста, распустила для жениха серые крылышки, цопнула жука и утащила в юрту. А как поднялся полог, послышалось что-то Кэре. То ли пыхтит кто внутри, то ли храпит. А ну, дикий зверь забрался, обидеть захочет мою Чокчокун.

Осторожненько приподнял Кэре полог, прокрался в юрту и увидел: сундук да сундук да еще сундук с сундуками. Подлетела к потолку Чокчокун, прячет жука подальше. А из ближнего сундука – хвост торчит, да такой знакомый... Ишь ты, украсть мою невесту решил, мохнатая морда!

Распушился Кэре, взъерошился, издал боевой карк да как прыгнет на сундук! А оттуда песец Кирса выскочил в чем мать родила, да и пустился бежать. Кэре так и сел, клюв разинув. Случалось и ему в сундуках таиться, случалось и удирать через дымоход. Задел ворон крылом другой сундук – а оттуда заяц Пауглук выскочил в чем мать родила. Опрокинул лапой третий – а внутри хорек Солига лапами прикрывается. И снегирь Хинни и

лось Лукучэн и медведь Делэй и полоз Хакчин там прятались, каждый в своем сундуке. И даже – ай, бесстыжий – горноста́й Киранас под полатями притаился.

Разбушевался Кэре, клевать всех начал, когтями драть, поливать кое-чем сверху, гнать прочь. Всех победил и на красавицу Чокчокун посмотрел укоризненно. Та в слезы:

- Прости меня, мудрый Кэре! Выйду за тебя замуж, верной женою стану, заботиться о тебе буду, чай кипятить, мясо варить!

Прищурился Кэре, клювом щелкнул... а ведь сам виноват. Сам пришел, сам предложил, а будь понастойчивее красавица – глядишь и жену бы обидел.

- Пусть наполнится счастьем твой очаг, любвеобильная Чокчокун! Пусть соберутся гости на веселую свадьбу, когда отыщешь ты мужа, во всем равного себе. Трясогузка, вот ты кто, чистая трясогузка!

Каркнул ворон, ухватил красный цветок и улетел себе восвояси. Мимо зеленых долов, мимо Орлиных гор – вот и родной чум виднеется. И чайка Киракчан на пороге – в одной руке сковорода в другой бич собачий:

- Одной жены тебе, значит, мало, летун таежный! Молодую искать побежал, бесстыдник! На красивые глаза повелся, олух царя небесного! Мне Хэлмилэн все рассказала!

- Погоди сердиться, милая Киракчан! Далекo я летал, за семь гор, за семь рек, в край, где горячая вода из земли льется, а камни огнем плюются. И подарок тебе привез – погляди!

Вплела Киракчан красный цветок в волосы и стала красивей всех на свете. Ахнул Кэре – где были мои глаза? И давай с женой разговоры заводить, о любви напевать, как в жениховские времена – карр, карrrrr! Ключула ворона в лоб Киракчан и простила – из всех мужчин она выбрала своего Кэре.

А прекрасную Чокчокун с того дня прозвали трясогузкой. И злилась она и плакала и медведя с лосем о защите просила – без толку, прилипло прозвище-то. Не верите? Подойдите к серенькой птичке с длинным хвостом, назовите ее трясогузкой – пикнет и убежит от стыда!

Как ворон Кэре с детьми сидел

Что такое десять детей в чуме, знает лишь мать, которая этих детей вырастила. Десять носов вытри, десять хвостов вымой, десять сказок расскажи, десять драк разними. И одного-то поднять мать умается, побежит в тайгу выть под сосной. А у Киракчан целый выводок. Чайчата хоть паиньками при маме прикидываются, а воронят в чуме не удержишь – едва на крыло встали, начали везде клювы совать, соседских мальчишек обижать, соседских девчонок за косы дергать. Раньше только на Кэре соседи жаловались, а теперь Киракчан не знала, куда от стыда прятаться.

Раз затеяла она лепешки печь, да превкусные, с оленим салом, с толченой черемухой, с кедровыми орешками. Чайчата маме наперебой помогали – одна муку рассыпала, другая воду разлила, третья ягоды разбросала, четвертая орешков поела, пятая маминой палкой-мешалкой огонь в очаге развела. Не успела Киракчан рассердиться, как соседи пришли толпой:

- Сыновья твои, чайка, и лисят поколотили и медвежат и волчат! Росомах Этэке спал на солнышке – муравьев ему в шкуру напустили, негодники! Полоз Сингак на мышей охотился – за хвост к кустам его привязали. Старая медведица Оронат рыбу в реке ловила – и ее не пощадили охальники, добела перепачкали. Совесть имей, Киракчан, уйми твоих детей.

Закрылась крылом Киракчан, стыдно ей стало. Угостила соседей чем бог послал, одарила, кого чаем, кого табаком. Отшлепать было детей собралась. А потом разозлилась. «Твои дети то натворили, твои дети се учинили!». У них вообще-то и отец есть.

Растолкала Киракчан ворона Кэре:

- Просыпайся, дорогой муженек! Сестра у меня замуж выходит, на свадьбу позвала, полечу на птичий базар праздновать.

- Ай, Киракчан! Нет у тебя незамужней сестры.

- Вставай, дорогой муженек! Кума лиса сына крестит, на пир позвала, полечу в тайгу праздновать!

- Ай, Киракчан! Лисы живут в лесу, молятся колесу. Зачем им детей крестить?

- Подымайся, дорогой муженек! Надоело мне сказки сказывать, лечу к маме спать-отдыхать. А ты с детьми посиди, чай не чужие они тебе.

Кэре так и подскочил:

- Ай-ай! Киракчан, я ж не женщина! Не умею я с детьми, не накормлю, не напою, спать не уложу!

- Кто у нас в тайге самый умный? Кто самый хитрый? Кто самый сильный и гордый из птиц? Придумаешь что-нибудь, Кэре, не впервой поди.

Чмокнула мужа в макушку Киракчан, раскрыла крылья – и только ее и видели. Остался ворон с детьми. Сидит в чуме, курит трубку, каркает жалостливо, а делать-то нечего. Соседок позвать – целый год смеяться будут, что отец из Кэре что мать из кукушки. Лису Хэлмилэн заманить – так дети потом маме расскажут, что рыжая вокруг папы ужом вилась. Видать и вправду самому придется справляться.

Тут и дети стаей поналетели. Прыгают вокруг папы, кто хохочет, кто каркает, кто за одежду щиплет, кто в хвост клюет. И верещат на все голоса:

- Есть хочу! Пить хочу! Спать хочу! Не хочу спать! Не буду лосося! Не буду сало! Мне скучно! Мне холодно! Мне жарко! Папа! Папа!

Охнул ворон:

- Тише вы, неумные. Хотите со мной поиграть? Давайте вы будете могучие валуны с берегов белого моря!

Раскаркались детишки, распищались:

- Хотим! Хотим! А как играть в могучие валуны?

- Вы ляжете под одеяла и закроете глаза, а я расскажу вам сказку.

Разлеглись детишки каждый под своей теплой шкурой. Устроился Кэре поудобней и начал:

- Давным-давно, за семью лесами, за семью горами, за тихой речкой, за синим долом жил-был...

- Иван! Камчадал! Дикий медведь! Глупая куропатка! Сам ты куропатка! Что щиплешься? Что клюешься? Ща как дам! А вот и не дашь! Ай, папа! Папа, спаси, мальчишки опять дерутся!

Полетели одеяла в разные стороны, начался сплошной переполох. Проклевали дети куль с мукой, опрокинули бадью с молоком, вымазались так, что не разберешь – кто здесь чайка, а кто вороненок. Мечется Кэре по чуму, одного дитенка поймает, другой чудит, другого ухватит – третий четвертого тузит. И все орут-разливаются. Измучился с детьми Кэре и разозлился:

- Ах вы, такие-сякие! Вот прискачет на одной ноге злой дух бальбука, побросает вас в мешок и унесет в нижний мир к плохим детям!

- Глупости! Сказки! Выдумки! – заверещали птенцы.

- Выдумки значит? Ужо вам!

Выскочил Кэре из чума и давай рядиться. Вывалялся в грязи, выкупался в пепле, вздыбил перья, поджал одну ногу, ухватил корявый сук, отыскал на нартах мешок и поковылял назад:

- Вот он я, страшный дух бальбука, пришел за плохими детьми! Кто здесь папу не слушает?

А в чуме-то тихо. Попрятались дети что ли? Заглянул Кэре под одеяла, поглядел под нарами, раскидал старые кожи – ни вороненка ни чаечки. Только перья на полу да следы чьей-то лапы, не звериные и не человечесьи. Понял Кэре, что натворил – беду накликать на своих малышей. Уселся ворон на пол и заплакал – детей жалко, а Киракчан еще жальче. Что она скажет, когда вернется и узнает, что ее Кэре долгожданных, выстраданных птенчиков погубил? Ай, беда!

Раздул Кэре очаг, угостил пламя не скупясь – и сала и рыбы и шкурку беличью. Дыму – не продохнуть. А как сошел дым, позвал ворон:

- Бабушка Огонь! Бабушка Огонь! Помоги, беда в дом пришла.

Появилась из пламени старая Энекан-Того, головой качает, пальцем грозит.

- Что же ты натворил, глупый Кэре! Кто ж тебя надоумил злого духа поминать все?

- Моя вина, бабушка, а детишки-то не при чем. Помоги вызволить птенчиков!

- Что с тобой поделаешь, помогу. Только непросто оно будет – в Нижний мир мы с тобой спустимся.

Встопорщился Кэре, крыльями передернул – холодно там в Нижнем мире, уныло и из еды только сухие кузнечики. Да и долго туда, поди добираться?

- Скоро ли мы вернемся, бабушка? Далеко ли идти?

- Ай, близко! Кар да кар и мы на месте.

Кувырнулась через голову Энекан-Того и обратилась в золотую мышь. Как стала землю под очагом рыть, только пыль да пепел в разные стороны полетели. Глянул Кэре – голова закружилась у ворона, до чего глубоко и темно в яме. А Энекан-Того не боится. Достала из-за щеки горошинку, закопала в пыль, плюнула и росток пробился, стебелек вниз опустился. Каркнуть не успел Кэре, толщиной в лапу канат сделался. Полезла по нему Энекан-Того, а Кэре полетел следом.

Раз да раз – вот и мир мертвецов. Бродят по нему серые люди, жуют кузнечиков, не плачут и не смеются. Раз да раз – вот и мир мертвых зверей, убитых не по закону, от жадности или со зла. Ковыляют бедолаги, охают, ждут пока хозяйки им новые шубы сошьют. Раз да раз – пустой мир, где лишь пыль да сухие колючки. ...Вот и мир духов показался – ай, страшный! Где ноги без головы бегают, где голова без ног, где зубастая страхолюдина гуляет-облизывается, где сам злой Харги топчется, слепо в темноту смотрит. Потянула Энекан-Того носом, понюхала воздух – туда пошли.

Тихо-тихо крадется бабушка, тихо-тихо за ней ворон летит. Долго ли коротко ли – видят каменный чум, серый, тусклый, только окошки светятся. Заглянул Кэре в одно, да так и обмер. Скачет по чуму злой дух бальбука, бормочет что-то нелюдское, прутом помахивает. А перед

ним детишки испуганные повторяют хором: Буки-аз – ба, Добро-аз – да, бусинами на прутьях щелкают, белую кожу черной краскою пачкают. На детишках кафтанчики одинаковые, цвета тоски, да торбаса ровдужные. Сидят смиренхонько, не шелохнутся, не двинутся, даже плакать не смеют. Чайку вороном впору назвать, до того одинаковые. Заколдовали бедняжек.

- Вот я его сейчас заклюю! – озлился Кэре. – Будет знать как деточек обижать.

- Ай, Кэре, одного заклюешь – десять набежит.

- Вот я его сейчас прогоню собачьим бичом! – взгоношился Кэре. – В снег закину, пусть сам столбом сидит.

- Двадцать набежит, Кэре, уймись уже. Колдовство колдовством ломать надо. Поди туда не знаю куда, глупый ворон, да принеси мне олени бубенцы, - велела Энекан-Того и ножкой топнула.

Каркнул Кэре и полетел над страной духов. Летит – оглядывается, где бы оленя найти, как бы бубенцы добыть. И мысли у него самые нехорошие. А вокруг духи носятся один другого страшнее, да на ворона косятся, словно чуют, что тот живой. А ну как распознают – и съест могут и к самому Харги на суд отвести. Есть за что, и у духов счета к хитрому ворону водятся. Красавицу Санъярин у злого Агды увел, одноногих духов

росомашьим салом попотчевал, да и похулиганить успел... Эх, молодость!

Летит Кэре, летит и вдруг слышит: смеется кто-то да так громко что пыль подымается. «Хо-хо-хо! Хо-хо-хо!». И перезвон доносится, нежный-нежный. Подобрался поближе – глядь, бородатый словно Иван, дух в красном кафтане грузит на сани мешок, большой-пребольшой. В нем, небось, детишек видимо-невидимо. А в сани олени запряжены, жирные как на подбор. И у каждого бубенцы на шее. Каркнул Кэре и кинулся в бой – дерет мешок когтями, рвет клювом, каркает: бегите, дети, бегите! А из мешка заколдованные детишки валяются, заколдованные зверушки и шаманские штучки разные, не разберешь без трубки что и зачем.

Бу-бу-бу! Рассердился дух, ухватил ворона за шиворот и давай отчитывать на своем языке. Видно, что бранится, а ничего не понять. Извернулся Кэре, вырвался, клюнул духа в красный нос, цопнул бубенец с оленьей шеи – и деру.

Прилетел к Энекан-Того, ажно запыхался. Похвалила ворона бабушка, и начала расколдовывать каменный чум. Взяла бубенец – да как затрезвонит. Детишки повскакали с мест и на улицу побежали: перемена! Перемена! Бальбука заверещал, ногой затопал – а поздно. Спихватился Кэре, начал искать своих. Раз-два-три-четыре-пять – воронята на месте. Раз-два-три-четыре-пять – и чайчата собрались. Обнял их Кэре, перецеловал и скомандовал:

- Айда!

Припустились чайчата с воронятами со всех лап, Кэре их подгоняет, за ним Энекан-Того ковыляет, а следом голодные духи гонятся – кто кричит, кто визжит, кто мудренными словами грозитя. Чуть не догнали, да сани наперерез вовремя вывернули. Дух в красном кафтане бородой трясет, кнутом грозитя, олени хэкают, бубенцы звенят –чистый переполох.

Припустил Кэре со всех лап. Вот и дырка до Среднего мира! И стебель гороховый сухой как солома валяется на земле – не иначе мыши подгрызли или олень в чум забрел. Ай, беда! А духи шумят, визжат, вот-вот догонят.

- Пора вам, дети, летать учиться! – каркнул Кэре. – Дуйте ко мне.

Похватал ворон детишек и давай вверх подбрасывать – чайчонка-вороненка, чайчонка-вороненка. Раз упали птенчики, другой упали, а потом шурх-шурх и полетели наверх.

- Брось меня, Кэре, - понурилась Энекан-Того. – Спасайся, а я с духами договорюсь, чай не чужие мне.

- Ну уж нет, - каркнул Кэре. – Садись, бабушка!

Подставил ворон шею и понес Энекан-Того наверх. Мимо пустого мира, мимо звериного мира, мимо мертвецкого мира. Летит-пыхтит, чует, что силы на исходе.

- Брось меня, Кэре, - просит Энекан-Того. – Вместе же разобьемся.

Ничего не сказал ворон, только крыльями из последних сил замахал. И вдруг шурх! Шурх! Прилетели чайчата да воронята, ухватили бабушку кто клювом кто когтями и понесли. Раз-раз! Вот и чум. Обрадовалась Энекан-Того, перецеловала своих внуков – и скок в очаг, только ее и видели.

Огляделся Кэре – а вокруг ужас-ужас. Мука по чуму рассыпана, молоко разлито, и мыши здесь похулиганили и песец побывал. Ай, что Киракчан скажет! Только ворон за березовую метлу схватился – набежали птенцы. Воронята вмиг муку из чума вымахали, комоды да сундуки по местам расставили, жерди поправили, да улетели еду добывать. Чайчата захопотали, подмели все, хворосту натаскали, чум продымили, оленух подоили и за рыбой к озерцу поспешили. Да все весело делают – с притопом, с прихлопом, с приговорочками.

Сел Кэре трубку курить, Сэвеки благодарить – какие хорошие дети ему достались. И тут шорох крыльев послышался – явилась от матери женушка Киракчан. Кормить ее, видать, хорошо кормили, но язык в жиру не затупился.

- Ах ты бездельник старый, моховик крапчатый! Почто дымишь, огонь зря переводишь? Куда наших детей девал?

- Угомонись, Киракчан, - лениво каркнул Кэре. – Вернутся дети, тогда и ругай.

Огляделась Киракчан, подивилась чистоте невиданной, махнула на все крылом и села рядышком с Кэре трубочку покурить. Клубы дыма летят вверх, ворон рядышком каркает – хорошоооо... А тут и детки вернулись. Воронята мяса добыли да сала натаскали, чайчата рыбки свежей из озера нахватили. И послушные сделались, ласковые: папа', мама' не хотите ли отужинать, мы сейчас приготовим и на стол накроем. Смотрит чайка на мужа: околдовал он птенцов что ли? А Кэре знай помалкивает да поближе к жене подсаживается.

Так-то недели не прошло, как птенцы шkodить начали. Снова соседи гурьбой жаловаться ходили, снова чайчата мукой пудрились, а воронята с мальчишками дрались. Зато батюшку с матушкой с того дня беспрекословно слушались, пока не выросли и из дому не разлетелись на все четыре стороны. Но это уже другая история!

Как ворон Кэре большую рыбу ловил

Все знают – летом в тайге еды вволю и в тундре не голодают, осенью отъедаются и звери и птицы, жир набирают, кладовки делают. Долгой зимой подъедают кто что запас, а весной затягивают пояса потуже да по сусекам скребут. Хорошо зверью, кто в спячку впадает. Птицы так не умеют.

Кэре и рад бы постараться, мяса добыть, грибов да ягод собирать, рыбы засушить – по рекам ее в нерест хоть лопатой гребти. Да дел невпроворот – то лайку Гогонмон с хозяином мирить, то мамонту Хэли невесту искать, то с духами лихорадки на приречные стойбища в кости играть и клювом-то нужную косточку перевернуть. То у рыжей Хэлмилэн черно-бурые лисята родятся, весь лес судачит, на кого малыши похожи, а Кэре бегай и доказывай, что не при чем.хлопотна да суетна жизнь у ворона, не до мирских забот ему летом да осенью.

Как пришла зима, завалило тропы, засел Кэре в чуме безвылазно – не любил он мороз и вьюги. Угнезвился у очага, трубкой пыхает, думы думает. Ну и брюхо набить не забывает. Сперва они с Киракчан подъели дареное – всяк норовит ворона-то угостить за доброе дело. Потом запасы, что чайка осенью набрала. А как солнышко появляться начало, оголодали. Последние лепешки на последнем сале изжарили, последние ягоды в кипяток покидали – а дальше только хвоей воду мутить. И начала Киракчан Кэре пилить-выговаривать: поди мол да поди на рыбалку, добудь еды, чтоб до тепла хватило.

Сперва-то ворон отговаривался: а ну потону, вдовой горючей тебя оставлю. А как живот подвело, понял, что не откаркается. Собрался по уму, сети взял, гарпун взял, нож охотничий, трубку не забыл, чайник подвесил к коробу, жену поцеловал напоследок и айда рыбачить. Вышел на берег белого моря, сел в лодочку и поплыл себе добычи искать.

Небо над головой серое, волны сонные, чайки смеются, тюлени на льду валяются. Никому до рыбака дела нет. Каркнул Кэре, бросил в воду кусочек сала для духов. И закинул сети. Ждет-пождет, думает об обеде, о ласковой доброй жене. Потянул назад – тяжелехонько, батюшки! А внутри водоросли разные, камушки, сучья плавника. И рыбешка – махонькая, на один зуб. Отпустил ее Кэре и снова закинул сети.

День идет, волны плещут, в брюхе песня играет. Вытянул Кэре сети, а там рыбка одна-единешенька. Самому Кэре на обед бы сгодилась, а на двоих уже мало. Отпустил ворон добычу, сыпанул в волны щепоть табаку и снова сети забросил. А ну как следующая больше будет?

Долго ли коротко ли – заплескалась вода. Вытянул Кэре сети, а там рыба побольше прежних двух. И ушицу сварить можно и на углях запечь... А ну как следующая больше будет? Выпустил Кэре добычу, цибик чая по волнам рассыпал и снова сети забросил.

Забурлила вода, вытянул Кэре сети, а там рыба. Хорошая такая, на размах крыльев. И погордиться, и

поесть и про запас оставить. А ну как следующая больше будет?

Угостил Кэре волны щепоткой золотого песка, попросил у духов удачи и снова закинул сети. Тишина воцарилась, даже ветер притих. Задремал было Кэре, а тут его кааак дернет! Запуталась в сети рыбища едва ли не больше лодки. И потянула ворона за собой.

День лодчонка по морю мотается, ночь носится без устали. Каркает Кэре за борта хватается, а делать нечего – не бросать же добычу и снасти. Попробовал рыбищу гарпуном успокоить – только зря оружие утопил. Пробовал духов звать – духи не дураки в холодную воду соваться. Ай, беда неминуемая!

Наконец ветер подул, волны поднял, выкинул рыбищу на берег. И лодчонку с голодным Кэре следом швырнул. Поглядел ворон на свою добычу поближе и возгордился – на всю весну такой большой хватит, станет Киракчан сытая да добрая. Будет песенки напевать, у огня танцевать, своему Кэре чай варить да перышке на шейке почесывать. Ай, хорошо! Одно плохо – в лодку рыбища никак не поместится и в когтях ее не унести. А до чума далеко-далеко...

Видит Кэре – плывет по морю тюлень Ларгэ. Позвал его ворон:

- Братец тюлень! Помоги мне рыбу домой отнести!

Подплыл Ларгэ поближе, хвостом махнул:

- А что ты мне, братец ворон за это дашь?

- А что ты хочешь, добрый тюлень?

- Потроха твоей большой рыбы хочу!

Подумал Кэре и согласился – рыба большая, на всех хватит, а потроха он не ест. Вытолкнул вместе с тюленем рыбину в волны, прицепил ее за хвост и поплыли все вместе – Кэре гребет, Ларгэ рыбу толкает. Долго плыли, устали, запыхались оба, но справились – вот и берег родной показался. Причалил Кэре к берегу, Ларгэ рыбищу вытолкнул, брюхо у нее выгрыз, и довольный ушел. А Кэре ходит вокруг добычи, то с одного конца потянет, то с другого поддернет – не сдвинуть с места. Видит – по дюнам олень Учак бродит, травку ковыряет копытом да жует что посвежей.

- Братец олень! Помоги мне рыбу домой оттащить!

- А что мне за это будет?

- А что ты хочешь, добрый тюлень?

- Целый бок большой рыбы хочу, Кэре!

- Зачем тебе рыба, Учак, ты же ее не ешь?

- Белым волкам из белого леса отдам. Поедят и не будут оленух обижать, оленят за ноги кусать.

Подумал-подумал Кэре и согласился. Полрыбы лучше, чем ничего.

Взял он нарты, привязал рыбину, впряг оленя и сам рядышком впрягся. Тянут-потянут, дело-то долгое. Солнышко вышло, снег мокрый сделался, земля вязкая. Умаялись оба. Дотащил олень рыбу до малой горюшки и наземь лег – устал, мол, не могу больше. Отдал ему Кэре рыбий бок и сам потащил нарты – всего-ничего осталось, полгорки да пригорок, а там и чум покажется. Упряжку бы как у людей, собаки бы враз довели сани. И лаяли бы залиvisto... Ай! Ай!

Набежали песцы с белых дюн, все как один худые да голодные, все хотят свою долю рыбищи откусить. Распушился Кэре, взъерошился, раскаркался и давай отбиваться. Одного клюнет – другой зубы кажет, другого рвет – третий кусище тащит, третьего ухватит – четвертый брюхо набивает, негодник. Вмиг от большой рыбищи кости, голова да хвост остались.

Разбежались сытые песцы, толстыми животами потряхивая. А Кэре остался, голову повесив. Хоть плачь... Что ему Киракчан скажет, что они есть будут? Снег весенний в котел бросать? А хоть бы и снег!

Сидела чайка в чуме, клюв повесив, вдруг слышит:

- Карр! Карр! Выходи, хозяйка, принимай работу!

Выглянула Киракчан, а там Кэре с нартами. А на нартах рыбища – морда злющая, хвост длиннющий, чешуя как иней белая, как лед прозрачная. Надолго такой хватит,

до самого лета сыты будем. Обрадовалась Киракчан, а Кэре к ней ластится:

- Ай, жена, устал, пока рыбу тащил! Чаю мне вскипяти, постель разложи, поухаживай за мужем-то.

Захлопотала довольная Киракчан – и чай у нее нашелся, и кусок сахара, и кружок молока мороженого. Уложила она своего ворона, меховым одеялом накрыла, горячим напоила, по перышкам погладила, хвалебную песнь спела. И собралась рыбу разделывать.

Лежит Кэре в чуме под одеялом да слушает, что там за пологом делается. Раскричалась Киракчан, রাখалась – пока она мужа обихаживала, снег-то растаял на весеннем солнышке, остались от рыбы кости, голова да хвостище. А Киракчан-то думает, что сама виновата – не прибрала добычу вовремя, вот ее и растащил мелкий лесной народец.

Вернулась чайка в чум, а глаза у нее хитрые-прехитрые.

- Ай, муженек! Хочу я большую уху сварить, большой пир устроить, всех соседей созвать.

- Доброе дело задумала, Киракчан, давно мы не веселились!

Достала Киракчан большой котел, бросила туда рыбы кости, хвост и голову заодно, и побежала по соседям.

- Приходите в гости, дорогие соседи, пировать будем, гулять будем, тепло приманивать будем!

Ну соседи-то и собрались, каждый принес чем богат – кто сала, кто мяса, кто грибов сушеных, кто ягод толченых, кто сигов копченых. Расстарались хозяйки, наготовили разного, стол накрыли, всех зверей рассадили и для птиц место нашлось. Как наелись – петь пошли, плясать пошли, сказки рассказывать, долгие как зимняя ночь. День пировали, два веселились, а на третий снег стоял, весна в тундру как есть пришла.

Разошлись по домам гости, у каждого по солнышку дел хватает. Норы чистят, шубы чистят, малышей рожают, стариков провожают – без дела не посидишь. Подождал Кэре, пока последний гость за полог выйдет, обнял Киракчан и во всем перед ней повинился. Так мол и так, поймал большую рыбищу, а домой только косточки приволок. Засмеялась мудрая чайка:

- Ай, Кэре! Неужели ты думаешь, что жену обмануть можешь? Или я лед от рыбьей чешуи не отличу? Что любимый муж сделает то и ладно.

Каркнул Кэре, улетел в теплый край, принес своей чайке цветов весенних, спел ей песенку и до лета хлопотал по хозяйству. Грех жену обижать!

Как день на убыль пошел, надоело Киракчан на месте сидеть, собрался она детей навестить, а Кэре в чуме остался. Что с ним дальше случилось – о том другая сказка поведает. А услышите, что лисята его папой зовут – не верьте!

Как мышка Кучиду самого Кэре обманула

Ворон Кэре своевольным сызмальства уродился. Что ему хочется, то и делал, куда хотел туда летал, а куда не хотел не летал, хоть за хвост его, упрянца тащи. Хотелось есть – ел, не особенно думая, кто выудил из реки рыбку совсем не для ворона. Хотелось спать – мостился на ближайшей сосне и отдыхал вволю в чужом гнезде. Нравилась ему красивая девушка – так и каркал, мол, нравишься, не пройтись ли до ближайшей укромной рощицы. И кое в чём еще мало чем отличался от человеческого младенца. Немало страдали звери от его непосредственности, ругались, кулаками в небо грозили – а что поделаешь? Ворон уже далеко, однако, и думать забыл о том, что позади осталось.

И вот однажды зазвала ворона в гости проныра Хэлмилэн. Прослышала она, что Кэре опять с Киракчан рассорился и решила снова попытать счастья. Чем она, лиса, не краса? Шубка рыжая лоснится, волосок к волоску. На лапках чулочки белые красоты неземной и кончик хвоста снежинкой сияет. Носик бархатный, зубки сахарные, а уж шутки шутить на всю голову мастерица. Ужо не стала бы ни бранить ворона, ни ревновать, ни хореом длинным гонять по стойбищу.

И так рыжая вертелась и сяк, и козлятинки гостю и оленинки и лосося копченого и сластей русских, и чайку подлить и покрепче чего предложить. Ан нет. После Чокчокун зарекся Кэре на чужих красоток глаза подымать, будь они хоть трижды лисицами. Отобедал он

от души, похвалил дорогую хозяйку, да и отправился восвояси, сытый как песец на китовой туше. Летел себе до чума, летел, сбросил лишнее по дороге, да и уселся на берегу ручейка водицы испить.

Глядь – вылезает из запачканной норки зверушка. Лапки белые, ушки белые, усики белые. Пахнет... ой как пахнет. Бранится – ай как бранится, пары слов и сам Кэре не слыхивал. Доковыляла неведома зверушка до ручья, плюхнулась в воду и давай отмываться. Трет себя, лапками выскребает, по песку катается. Вычистила все, с горем пополам, поднялась на берег – мокрая, тощая, хвост висит, шерсть облипла, а на спине пятно осталось. Не удержался Кэре:

- Ай, в воду назад иди, у тебя вся спина белая.

Обернулась зверушка – да и плюхнулась назад в ручей, забултыхалась, тонуть начала. Помочь бы надо, а Кэре смех одолел. Раскаркался он, крыльями замахал, клювом защелкал, до икоты расхохотался. Едва успел подцепить бедолагу лапой и вытащить на берег. И снова давай смеяться, аж булькает:

- Раз макнулась, два купнулась, в третий чуть не утонула!

Ай, отведала удачи, смерть как мышку обманула!

Встряхнулась мокрая зверушка, хвост отжала, усы вытерла. Глянул Кэре и оторопел – впрямь мышка Кучиду перед ним стоит, злая как дух бальбука. Тут бы

извиниться надо бы, а у ворона в клюве смешинка застряла:

- Прости-ха, сестра-хи, дурака-кар-кар-кар!

Взъерошилась мышка, спину выгнула, зубы оскалила, шерсть вздыбила, словно ласку увидела – да и поскакала на Кэре боком. Мал зверь да свиреп! Кое-как встал на крыло ворон и полетел восвояси, хихикая на лету. Кучиду внизу браниться осталась. Нехорошо вышло... а не надо норы без дверей строить, наружу не вовремя нос казать.

Вернулся домой Кэре, помирился с Киракчан и думать забыл о мышке. Будет день, будет пища, сделает ей добро, а сейчас чем поможешь? В чуме хлопот, однако, полно – песню спой, в бубен постучи, трубкой подыми, рыбы наворуй... прости, женушка, наловлю, не стану соседей злить.

Праздник весны собрались устроить звери, Кэре соседей созвал и давай музыку делать кто на чем горазд. Песец Кирса на варгане бренькает, заяц Пауглук на сопелке свистит, хорек Солига на конковуре настукивает, сова Хуму в бубен бьет, а Кэре приплясывает и знай каркает во все воронье горло. До утра плясали звериные жены, распускали хвосты птичьи красавицы. Ай, хорошо!

Дело к лету, собрал сурок Урикэ тысячную орду, пошел тундру воевать, кровного врага суслика Чонколгуна в землю закапывать. Пока Кэре одного хана унял, пока другому клювом по макушке ум в голову вогнал, пока

горноста́й Киранас и волк Кутурук войска куцехвостые разогнали по норам, глядь день опять на убыль пошел.

Про мышку Кучиду Кэре и думать забыл. Мало ли кого обижать доводилось, всех не упомнишь. Дел-то в тундре полно. Там посиди, там полетай, там помири, там из ямы за хвостик вытащи. И добычу искать надо, запасы делать. И красавицы вокруг ходят – лапы связаны, хоть глазком поглядеть, доброе слово каркнуть. И лиса Хэлмилэн опять в гости позвала – именины у нее, говорит. А готовить она мастерица – из ничего пирог спечет, рыбки наквасит, голубику с морошкой в меду настоит. Как отказать?

Прилетел Кэре к рыжей подруге, подарочек ей принес – ехали Иваны, шкурку потеряли, а шкурка-то не простая, в нее гребешок завернут костяной да резной, зубчик к зубчику. Чайке Киракчан чесать нечего, а лисе для хвоста в самый раз. Приняла лиса подарочек с радостью, обиды-то позабыла, чаю сладкого поднесла. А потом поглядела на друга и за голову схватилась:

- Ай, Кэре, что это с тобой приключилось?

- А что со мной приключилось? – удивился ворон.

- На себя посмотри!

- Вот смотрю. Крылья на месте, лапы на месте, клюв острый, перья черные.

- Да ты же женщиной стал, Кэре! Да прехорошенькой, я гляжу.

Опешил ворон – как такое могло случиться? Крылья на месте, лапы на месте, все родное, все свое. А под хвост себе не заглянешь, шея у воронов так не гнется.

- Мухоморов ты переела, Хэлмилэн, или русской горькой воды перебрала. Сама празднуй именины, домой пойдю.

Каркнул Кэре и домой побрел, несолно хлебавши. От расстройства даже лететь не стал – ишь чего лиса выдумала. Упаси Сэвеки, умом тронулась – а у нее лисята. Кто за хвостатыми приглядит, кто покормит, кто жизни научит? Шел себе Кэре, шел – глядь, заяц Муннукан навстречу скачет. Увидел Кэре, приосанился и бочком-бочком подобрался ближе.

- Долгих лет жизни тебе, красавица ворона! Как черны твои перышки, как стройны твои лапки, как остер клюв. И голосок верно дивный – спой о любви одинокому зайцу!

Каркнул ворон, перья встопорщил:

- Это ж я, Кэре, твой сосед! Не проспался поутру, заяц?

Подскочил заяц вверх с испугу, за голову схватился:

- И правда Кэре! Что за беда с тобой случилась, сосед, отчего ты женщиной стал?

- Сам ты женщина! Ворон я, ворон каким из яйца вылупился.

Хихикнул Муннукан и в лес порскнул – только его и видели.

Побрел Кэре дальше в задумчивости – что за злые духи зверей в лесу одолели. Мужчину от женщины отличить не могут соседи – видано ли? Мошка их перекусала всех что ли – так поздно уже для мошки...

- Ай-ай! Спасите-помогите!

Услышал Кэре – пищат в лесу. Пошел на писк, глянул под сосну – там бельчата скачут мал мала меньше.

- Ай-ай! Мама за орехами пошла, мы баловались, из дупла вывалились. Ай, сожрет нас сова, утащит лисица, ай, пропадем!

Не бросать же детишек? Похватал Кэре бельчат – кого в клюв, кого в лапы, подлетел высоко и высадил всех в гнездо. Обрадовались малыши, заскакали, чуть назад не вывалились:

- Спасибо! Спасибо, тетя ворона, что спасла нас!

- Тетя, говорите? – каркнул ворон.

- Тетя-тетя! Добрая-добрая! Подожди, мама придет, орешками угостит, ленту на хвост подарит!

Ворон аж крыльями перестал хлопать. Упал наземь отшиб хвост, да чуть не расплакался. Бельчата-то ни

горькой воды, ни мухоморов не пробовали. Видать и вправду гордый Кэре в бабу обратился. Не иначе Хэлмилэн его опоила зельем! Скверное колдовство подмешала в чай!

Расправил Кэре могучие крылья да полетел назад – уж он проказнице ум куда положено вправит. Прилетел к норе – и тут неладно. Ни лисы, ни лисят, ни запаха лисьего – только палые листья да паутина.

- Хэлмилэн! Хэлмилэн! – позвал ворон.

- Что шумишь, соседка? – высунулась из дупла сова Хуму. Нет здесь никакой лисы, с весны почитай нет – переселилась она к реке, к рыбьему перекату. Задолжала всем вокруг, вот и сбежала. И тебя, тетка ворона, рыжуха наша обобрала?

Ничего не ответил Кэре, понурился и домой полетел. Знать опутали его мороком злые духи, не иначе подкараулили, когда в тайге без костра ночевал, или с нижнего мира кто на хвост прицепился. Одна надежда – узнает Киракчан дорогого мужа, обнимет его, потрется клювом о клюв и спадет злое заклятие. Лучше б в жабу превратили пятнистую или в корягу замшелую, да хоть в камень-булыжник... только б не в бабу!

Вот и чум родной посреди леса виднеется – да только ни дымка над шестами не видно. Лишь кокетка-синичка Лигири вокруг прыгает, угольки да веточки подбирает малому жилищу на обогрев.

- Зря спешишь, матушка ворона! Ни хозяина ни хозяйки нет дома. Улетела Киракчан в нижний мир мужа искать – говорят, подменили его злые духи. Что ж мы без Кэре-то делать будем?

Слезы потекли из глаз ворона. Вот беда так беда. Кто их проклял, кто Киракчан голову заморочил, где ее нынче искать? Плачет Кэре, а синичка его утешает:

- Не плачь, матушка, вернется наш ворон, расколдует его Киракчан.

Каркнул Кэре, крылом махнул и пошел шамана искать – самому тут не справишься. А шаман зверь такой – нынче здесь, завтра в небе, послезавтра в мертвом мире со стариками в кости играет. То туда ворон глянет, то сюда ходит – никого, опустел лес. Отчаялся уже Кэре, когда дымок непростого костра почуял, на семи сучьях семи деревьев сложенного. Полетел туда со всех крыльев – и впрямь шаман камляет. Наряд на нем важный, маска костяная – и не различишь под ней, что за зверь прячется.

- Доброго огня тебе, мудрый шаман! Пособи моей беде, ничего в благодарность не пожалею!

- И тебе вкусной рыбки, сестрица ворона. Что за несчастье тебя одолело?

- Не ворона я, мудрый шаман – ворон Кэре. Околдовал меня злой бальбука, в женщину обратил, а жена моя Киракчан в нижнем мире ищет мужа среди злых духов.

Покамли, пособи, жену назад позови и меня прежним сделай!

Побросал шаман в огонь веточек да корешков, поглядел в пламя, покивал головой:

- Так и есть, Кэре. Злое заклятье к тебе прилипло, а знаешь почему?

- Нет, мудрый шаман.

- Обидел ты кого-то, крепко обидел. А от обиды и беда приключилась. Кому насолил, признавайся?

Как начал Кэре припоминать – шаман знай в бубен стучит. У кого рыбу украл, у кого окорок копченый, чьих жен целовал, на чьих оленях катался. Как отверг прелести красавицы Хэлмилэн, обозвал трясогузкой бедную Чокчокун, а мышке Кучиду прямо в норку того-сь...

Тряхнул бубном шаман:

- Все, хватит. Хочешь снова мужчиной сделаться – нарядись в женское платье и иди к Кучиду в услужение. Да смотри так служи, чтоб не выгнала тебя мышка. Осень пройдет, зима пройдет, снег растает, прилетят птицы-лебеди – снова мужчиной станешь. А жену твою я из нижнего мира сам выведу. Согласен?

Понурился Кэре, а делать нечего. Согласился. Добыл у соседей женское платье, повязкой вышитой покрыв

голову, нацепил на шею красные бусы и пошел к мышке в нору в служанки проситься.

Ай, нелегко пришлось ворону. Всем-то хозяйка недовольна была – то орехов принесет мелких, то грибов больших да старых, то плохо нору выметет, то мышат мало укачивает и на шалости подбивает. Что ни день – пищит на него да бранится. А Кэре знай кланяется да прощения просит, глаз не подымает, слова поперек не молвит.

Подымается ворон на рассвете – дров натаскать надо, воды наносить надо, детей умыть да покормить надо. Потом в чуме убирается, пол метет, потные одеяла проветривает, одежду штопает. Потом за добычей летит, ищет где бы чем поживиться. Потом снова воды натаскать надо, еды сварить, хозяйку накормить да мышаток, самому подѣсть, что осталось. Котел помыть, на крюк повесить, чаю сделать, малышей уложить, угли разворошить – и спи-отдыхай.

Осень прошла, зима за середину перевалила. Отправила мышка Кэре на берег моря за моржовым зубом – а где его в снегу найдешь. Бродит Кэре, ворочает ледяные глыбы, пинает валуны, напевает песню про бабью долю нелегкую. Ай, Сэвеки, стану мужчиной – каждый день благодарить тебя буду, что не сотворил меня женщиной!

Увидал Кэре полынью – а в ней тюлень Ларги рыбку жует. Он-то на берегу все знает, может и видел моржовый зуб.

- Хлеб да соль, добычливый тюлень!

- Ем да свой, друг Кэре... Ай, а что это ты в бабу вырядился? Прячешься от ревнивого мужа или Киракчан тебя ищет?

- Я и есть баба, - понурился Кэре. – Заколдовал меня злой бальбука.

- Совсем сдурел, старый олух – мужиком был, мужиком и остался! Нет такого заклятья, чтобы обабиться в одночасье.

- Но лиса...

- Подшутила она над тобой, дураком! Сговорилась с соседями и подшутила, кто же злее отвергнутой женщины!

- Но шаман?

- Если я моржовый череп на голову надену и в бубен бить стану, ты и меня за шамана примешь? Мне не веришь – воде поверь!

Подозвал Ларгэ ворона к проруби, отодвинулся к краю:

- Что видишь?

- Воду вижу, рыбу в глубине вижу.

- Себя в воде видишь?

- Да, клювастый, черный и с повязкой бабьей на голове.

- Задирай кафтан! Что видишь?

Поглядел Кэре в прорубь – и как раскаркался. По снегу заплясал, тюленя обнял, жирных лососей ему посулил. Скинул бабий кафтан, сорвал повязку, утопил в проруби красные бусы – и полетел к лисе разбираться, кто что наколдовал. Шкуру спустить с хитрохвостой клялся, ославить ее на весь свет, за зайца Муннукана замуж выдать.

Летит он над тундрой, летит над тайгой, смотрит – звери да птицы пальцами на него показывают. Кто хихикает, кто регочет, кто в голос хохочет, кто наземь падает, лапами сучит в воздухе:

- Ай, смотрите, вот мудрый Кэре, мышкой обманутый, лисой вокруг хвоста обведенный!

Подлетел ворон к лисьей норе, а там целая стая собралась – и обманутые мужья и обворованные хозяева и лиса-краса с горностаем под ручку. И мышка Кучиду приплясывает, на затылок шаманскую маску сдвинув:

- Поделом тебе, Кэре, маленьких обижать!

Ну не драться же с мышкой? Повернул ворон домой к родному чуму. Дождался ночи, поскребся тихонько:

- Впусти, Киракчан!

Увидала его жена – обняла, усадила, накормила, спать уложила, утешила как могла. А когда муж не видел –

укрывалась крылом и хихикала: мышка ворона обманула!

Долго Кэре в чуме отсиживался, лишь по ночам клюв наружу показывал. Стыдно ему, старому было, совестно соседям в глаза смотреть. Обижать-то других легко, а самому обиженным жить ай несладко.

А потом как приехал из большого города важный немец, толсты как морж, как согнал нойонов Иванов большую охоту делать, косматого мамонта живьем искать, как начался в тундре переполох, в тайге столпотворение... Куда звери да птицы побежали? Правильно, к старому ворону. Кто их от неминучей беды спас? Кэре, кто ж еще.

Позабылась обидная шутка, матери на детей шикали, если кто над вороном смеяться пробовал. Только мышка, завидев Кэре, хихикала – да кто ж ей, тонкохвостой указ?

Как ворон Кэре грибы искал

Грибов в тундре по осени видимо-невидимо, все знают. Какие хочешь – хоть крепкие беленькие, хоть упрямые подосиновики, хоть длинноногие подберезовики, хоть сопливенькие маслята, хоть сыроежки всех цветов – ешь не хочю! Вот их и едят – мудрые хозяйки запасы делают, сушат, солят, квасят в горшках. Ну и балуют хозяев жарехами да супами, не без того.

У шаманов к грибам свой спрос – варят горькие зелья, чтобы в верхний мир летать, да в нижний спускаться. У знахарей тоже дело – лечат грибами, кого поят, кого мажут, кому на раны порошок сыплют. И пастухи олешек жировать на разноцветные поля водят и девушки там свидания назначают – если мать спросит, так за тундровым урожаем пошла.

Ворон Кэре, надо сказать, не слишком любил грибы. Ему бы мяска, рыбки или в крайнем случае морошки с мороженым молоком. А склизятину жевать – он не олень. Но как отправила Киракчан мужа с кузовком, как пригрозила, что иначе всю зиму корой да мхом пробавляться придется, пришлось послушаться.

Полетал ворон над тундрой, выбрал местечко попестрей, уселся на мху и давай работать. Старые грибы не берет, мятые откладывает, самые махонькие да крепенькие срезает под корешок – пусть порадуетя добыче Киракчан, пусть похвалит своего Кэре. А кузовок-то у ворона непростой – с виду махонький, а внутрь хоть бы и

мамонтов окорок положить можно. На всю зиму запасов хватит.

Трудился Кэре без роздыху, знай складывал да срезал, срезал и складывал, а иные грибочки и в рот совал, чтобы не скучать за работой. Вдруг послышался ему голос:

- Кэре! Кэре! Пощади моих сыновей, оставь жизнь моим внукам!

Огляделся ворон – никого вокруг. Знать почудилось. Срезал еще один белый грибок – и снова.

- Кэре! Кэре! Будь милосерден, не губи мой род!

Покрутил Кэре клювастой башкой и видит – растет на пригорке гриб-грибище, мухомор Хулама, старый как мир. Шляпка у него как лапа бурого зверя мамонта, ножка толщиной с таежный кедр, от дождя под ним и мышка укроется и зайчишка и лиса с медведем поместятся. Говорит мухомор:

- Не будь человеком, Кэре, не бери больше чем съешь. Помилуешь мою семью – великую тайну тебе открою!

Почесался ворон, каркнул задумчиво – жадность и вправду большой грех, только голодные духи в два горла жрут.

- Хорошо, дедушка Хулама! Поощажу я твою семью, не стану обижать внуков.

Кивнул старец, муравьишки да мошки со шляпки посыпались:

- Слушай, добрый ворон! Есть на свете гриб всему голова. Кто его съест – великие тайны познает, ветра и звезды читать будет как охотник следы читает, волны и ветер призывать, людские языки разуметь, женщин понимать научится...

Каркнул Кэре от счастья, кувырнулся в воздухе, как птенец-сеголетка. Наконец-то сумеет он разобраться, что в красивой головке любимой Киракчан прячется, сориться с ней перестанет, счастливо заживет!

- Спасибо, дедушка Хулама! Как же мне узнать гриб всему голова?

- Ни с чем его не перепутаешь!

Захотел старый мухомор и исчез, только Кэре его и видывал. Тундра вокруг, ножки от грибочков белеют, мох курчавится, олешки вдали хэкают. И великая тайна первой звездой на горизонте маячит. Недолго думал ворон – подхватил кузовок (набит он был уже порядочно), оттащил к жене, и, не дожидаясь утра, отправился на четыре стороны, искать заветный гриб.

Ходил Кэре в тундру, ходил в тайгу. К ороchonским девицам, что по грибы бегают, в кузовки заглядывал, беличы кладовые обшаривал, бурундучьи норы, ежиные лежбища – нигде гриба всему голова не находилось. Наконец встретил китаЙца-знахаря, показал

ему, где растет золотой корень да красная ягода жизни, да выпытал тайну.

- Лезь в пещеру, что под Оленьим хребтом тянется, - сказал китаец. - Три дня лезь, мимо озер сверкучих, водопадов гремучих, змеев крылатых. И увидишь гриб – всем грибам гриб.

Что делать – каркнул Кэре и полетел к горе. Нашел пещеру, протиснулся внутрь, начал ползать по каменным коридорам, спускаться вниз. День лез – в водопаде искупался, два – в озере чуть не утонул, три – от змея крылатого едва крылья унес. И увидал наконец гриб заветный. Растет он в кольце сталактитов один-одинешенек, шляпкой круглится, ножкой белеет. И пахнет так, что слюной подавиться можно!

Сорвал Кэре заветный гриб, подхватил когтями и назад полетел. Клювом клацает, в брюхе урчит, жрать хочется. Не выдержал ворон, сел на камушек, отломил кусочек гриба, за ним другой, третий... Вкусно – ум отъешь, ни разу в жизни старый пройдоха ничего вкуснее не пробовал. Не заметил ворон, как гриб кончился. А мудрости, что характерно, ни на толику не прибавилось, только брюхо чутка подросло – еле назад протиснулся объевшийся ворон.

Другой бы назад повернул, к жене да птенцам домой вернулся. А Кэре упрямый был – раз решил, значит съест заветный гриб и поймет, что творится в головушке у любимой Киракчан. Оставил он тайгу, пошел в горы, где

Иваны землю копали, камни самоцветные из земли выгрызали. Старики у них мудрые, говорят, даром, что чужаки в здешних землях. Сорок сороков разговоров переговорил ворон, сорок тачек руды вывез (не сам, конечно, медведя уговорил), сорок бочек вина зеленого обещал (откуда ж его взять-то?) и нашел наконец Ивана Седую Бороду, рудокопа и рудознатца. Посоветовал ему старик:

- Дождись последнего дня осени, когда золотые листья наземь опадут, и первым снегом запахнет. Соберутся в тот день ящерицы да змеи со всех самоцветных гор на вершину Хурахар, поздравлять царицу свою с именинами. Покажется им царица в золотом уборе, серебряных ожерельях, медных перстеньках, каждой ящерке, каждой змейке поднесет водицы из горького родника, чтобы сладко спалось подданным долгой зимой. Подгляди, Кэре, где царица покажется, где назад в землю уйдет – там и рой после заката, царский гриб отыщешь. Да смотри, спрячь от солнца находку – иначе слез не оберешься!

Старик сказал – ворон сделал. Не жалея крыльев полетел на гору, затаился и стал ждать первого снега. Жил под камушком, как отшельник, голодал, холодал, от ледяных духов откаркивался. И дождался наконец – запахло снегом, поползли на гору змеи да ящерицы, казалось вся земля зашевелилась да зашипела. Вышла прямо из камня красавица зеленоглазая, разукрашенная золотом да серебром, поклонилась своим подданным, обнесла

их горькой водицей, да и исчезла – только полоска блестящая на земле осталась.

Кэре-то приметил, дождался заката и давай рыть. Клювом камни раскатывал, когтями тягал, словом заветным дробил тяжелые плиты. И дорылся-таки – засветилась земля внизу, показался в яме золотой гриб всех грибов грибистой. Сияет – глаз не отвести, гладкий как попка младенца, тяжелый как память о смерти матери. Из чистого золота сделан, не видали в северных землях чище. И мягкий словно олений сыр – отломишь кусочек, другой отрастает. Продать такой гриб – и дворец можно в тундре построить, не хуже, чем в Петровом Бору, спать под каменной крышей, есть с серебряных блюд, верных слуг завести, сани с золотыми полозьями, кровать с пуховыми одеялами, баньку белого камня, кладовую с копченой рыбкой... Ой-ой-ой! Размечтался Кэре и не заметил, как вышло солнышко. Превратился золотой гриб в навозник, да как лопнул! Долго ворон чистил перышки, долго отплевывался, долго старого Ивана честил, сулил ему чирьи на язык да прострел в поясницу. Да делать нечего – побрел ворон дальше заветный гриб искать.

Если вопрос застрял в голове как заноза в ином месте, что делает мудрец? Правильно, кланяется шаману. Ох как не хотелось Кэре к ороchonскому бубнотрясу идти, а куда еще податься? Духи нижнего мира знать не знают о грибе всему голова, духам верхнего мира не до таких глупостей, а бабушка Огонь глядишь и посохом

попотчует – ишь чего удумал, женщине в голову засматривать, словно форели пойманной в рот.

Надо сказать, неприветливо встретил шаман упрямого ворона. Трое суток отмалчивался, у входа в землянку держал, подарки посохом в грязь отбрасывал, ни слова ни говорил. Давние у них были счеты, давние и обиды. Наконец смилоствивился:

- Иди-ка ты, Кэре, к теплым источникам, что в долине семи смертей пар в небо пускают. Победи там клыкастое чудище, что охраняет тропы да отравляет воздух. И в логовище отыщешь красный грибочек мал да удал – он-то тебе и нужен.

Каркнул Кэре да поплелся искать долину семи смертей. Не раз и не два задумался по дороге – может бросить поиски, вернуться домой, подремать под теплым боком дорогой Киракчан, похлепать рыбьего супчика, послушать как пламя трещит в очаге... Ан нет, ворон сказал – ворон сделал.

Много мытарств пришлось претерпеть в странствиях, отощал ворон, облез, сам на себя непохож сделался. Выбрел он наконец к долине семи смертей, почуял тяжелый воздух. И клыкастое чудище увидал – дремлет оно подле теплого источника, хвостом прикрывшись, присвистывает во сне как щенок, лапкой дергает. Бей – не хочю! Ключнуть в глаз, ключнуть в другой, там и потонет чудище, сварится в горячей воде, потонет в липкой грязи. А на честный бой вызвать – куда там, не сдюжит Кэре, тут

и воронья стая бы оплошала. Думал-думал ворон, гадал-гадал, да и увидал красный грибок подле пасти страшного чудища. А кто ж ворует ловчей, чем Кэре?

Спикировал ворон наземь, подхватил грибок – а он тяжелый, голову к земле клонит – и со всех крыльев дал деру. Проснулось чудище, порычало, попрыгало и хвостом махнуло. Не догнать ворона в небе. Поплевались кипятком ввысь источники и тоже притихли. Поднялось облако ядовитого пара над долиной – и оно не догнало ворона, улетел Кэре, только его и видывали.

Долго ли коротко ли, устали крылья у ворона, опустился он на полянку посреди леса и стал смотреть – что ж за грибочек ему достался? Махонький, гладенький, миленький – загляденье. Только Кэре нацелился клюнуть грибок за бочок, как тот рассмеялся звонко да и скакнул подальше. Ворон за ним, то прыгом то летом, ан уворачивается вредитель! Наконец кувырнулся грибок через шляпку, пыхнул, бухнул и обернулся ороchonской девицей, да такой красавицей, что глаза застит.

- Спасибо тебе, добрый дедушка ворон, что спас меня от злого чудовища, спасибо, что расколдовал от злого заклятья. А теперь укажи, как мне в родное стойбище добраться, к любимому жениху.

От «дедушки» у Кэре аж перья дыбом встали – он ворон в самом расцвете сил и мужчина хоть куда! Но кто же с женщиной спорить станет? Отвел Кэре домой девицу, ничего с нее не взял за спасение и даже когтем не тронул.

А она-то перед ним и так и сяк – то в реке голышом купаться затеет, то спинку почесать попросит, то песню поет о секретах, что хранит девичье сердечко. Жестокая! Неблагодарная! Хуже всякой лисы!

Жених красоты в ту же степь подул – предложил дедушке дряхлому остаться в чуме дорогим гостем, до скончания дней, мол, будут о нем, беспомощном, заботиться благодарные ороконы. Ну тут Кэре уже не выдержал – шкуры на чуме новобрачным менять пришлось и шести новые ставить. А ворон плюнул на поиски и домой полетел. День летел, ночевал под кедром в тайге, два летел ночевал под березой в тундре, на третий остановился у озерца малого. На бережок спустился – рыбку себе на ужин мало-мало поймать. И вдруг глядь – батюшки!

Растет посреди мха красавец гриб. Шляпка снегом белеет, веснушки-звездочки по ней разбросаны, ножка стройная, пленка нежная. Так и просится: съешь меня, ворон, и познаешь всю мудрость мира! Никогда ж не знаешь, где найдешь где потеряешь. Откажешься от мечты и вот она как лист перед травой встает.

Кэре долго думать не стал. Клац-клац – разломал гриб всему голова на мелкие кусочки, поглотал их как червяков и уселся на мху, ожидать, когда ж он умнее станет. Закружилась голова у старого ворона, забурлило в животе, загорелось огнем в клюве – не иначе тайное знание наполняет мудростью кровь. Кррр...ой! Ой-ой-ой!

Три дня полоскало старого ворона, три дня на краю смерти ходил. Все лишнее вымыло, все вычистило, все невзгоды в жизни пустяками ему показались, все злые духи легкокрылой мошкарою почудились. Во всех грехах покаялся, десять раз у Киракчан прощения попросил, и у Хэлмилэн, и у Чокчокун и у многих других красавиц – ни одной не забыл. Наконец отпустило беднягу.

Очнулся он посреди тундры, мокрехонек словно мышь. Рядом кузовок с грибами наполовину полный, кружки-срезы вокруг белеют и здоровенный мухомор старый-старый трещинкой ухмыляется. И дождик накрапывает – словно и дня не прошло. Хотел Кэре со злости пнуть мухомор – а тот под лапой в труху рассыпался. С кого теперь спросишь?

Вместо грибов Кэре приволок Киракчан полные сани форели-маймы – сам сети забросил, сам наловил, сам засолил в морской соли. И мышей настрополил, чтобы ягод жене набрали, и зайцу Муннукану наказал накопать кореньев, и оленьего сыра у орочонов выменял. Зажила семья безбедно.

Кэре и вправду мудрее стал, основательнее, серьезнее. За всякими выдумками до весны не летал по тайге, за красавицами целую зиму не бегал, жену почитал, соседей не обижал. Ученики приходиться повадились – не гнал их Кэре, а работать заставлял. Киракчан помогать, оленей доить, хворост по тундре собирать, рыбу потрошить, шкуры на чум натягивать. А когда кланялся

ему ученик, взыскав великой мудрости, приосанивался
ворон и каркал:

- Не ешь, дурень, незнакомых грибов! Не знаешь, что в
рот суешь – не суй все!

И если ученик не осознавал истину – тюкал его Кэре
клювом по голове и пребольно. Так-то!